

КАТАПУЛЬТА

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ



В А С И Л И Й А К С Е Н О В

КАТАПУЛЬТА

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ

КАТАПУЛЬТА

Рассказы и повесть

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

МОСКВА 1964



Книга молодого писателя Василия Аксенова «Катапульта» составлена из произведений, написанных в разные годы.

Круг жизненных и нравственных проблем, остро занимающих писателя, тесно связан с проблемой воспитания и становления современного молодого человека.

О месте человека в жизни, о его духовном и физическом мужании в труде и столкновениях с житейскими сложностями говорят рассказы «Полторы врачебных единицы», «С утра до темноты», «Сюрпризы».

Большой и чистой любви, моральному и общественному долгу советской молодежи посвящены рассказы «Катапульта», «Папа, сложи», «Самсон и Самсониха».

ХУДОЖНИК СТАСИС КРАСАУСКАС

РАССКАЗЫ



С УТРА ДО ТЕМНОТЫ

Иногда меня охватывает отчаяние. Иногда мне становятся противны мои любимые мыши, кролики и даже обезьянка Стелла. Видеть я не могу в такие дни свои суперфильтры и сверхсовременные термостаты.

Мне хочется хватить кулаком по столу, выйти из лаборатории, насвистывая: «Лечу я, ого!», распахнуть дверь в кабинет шефа, крикнуть: «Гуд бай, пузанчик!», потом спуститься вниз, в отдел кадров, хватить кулаком по столу, забрать свою трудовую книжку и выйти на волю.

Где-то люди занимаются парусным спортом и подводной охотой, и снимаются в кино, и поднимают вверх са-

молеты, и играют на саксофонах. Масса парней моего возраста занимается великолепными делами, а я... А я бесконечно вожусь с мышами, с кроликами, с обезьянкой Стеллой, колю их иглой, некоторых убиваю, дрожу над жизнью других, делаю срезы, записываю показания приборов.

А Степка Черкасов, которого выгнали за академическую задолженность еще с четвертого курса, сейчас играет в футбольной команде мастеров. Изъездил весь Союз, был в Англии и в Италии. Одет как денди лондонский.

Ну хорошо, мне все понятно. Как говорит шеф на собрании научных сотрудников института: «Задача, равной которой по благородству нет, стоит перед нами. Человечество ждет, друзья!»

Это верно, человечество чего-то ждет от нашего шефа. Но ждет ли оно чего-нибудь от меня? Я титрую мышей и фильтрую культуру и каждую неделю отношу результаты — даже не самому шефу, а одному из его заместителей. Правда, через месяц мне обещают дать тему диссертации, но что это будет за диссертация?! «Наблюдения над некоторыми изменениями некоей субстанции при некоторых условиях». Добросовестная компиляция, список проштудированной литературы, какой-нибудь жалкий опыт. Сдвинется ли с места воз хотя бы на микрон от всех моих трудов? С таким же успехом на моем месте мог бы сидеть Степка Черкасов, а я, думаю, был бы неплох на его месте инсайда.

Говорят, эпоха гениальных одиночек прошла. Нельзя, просидев сто ночей взаперти, отрастив бороду и обовшивев, изобрести космический корабль. Тысячи людей в нормальных условиях, охраняемые профсоюзом, трудятся и, как видно, добиваются неплохих результатов. Так же, говорят, обстоит дело и с нашей проблемой. Только нам нечем похвастаться.

Но мне почему-то кажется, что воз сдвинет с места какой-нибудь гений. Может быть, он уже ходит где-нибудь, тихий и незаметный, а может быть, еще не родился.

Но уж я-то не гений, это точно. Не похож я на гения. Это будет, наверное, мозговик марсианского типа с большим черепом и хилым телом. А я не такой. Я какой-то уж чересчур нормальный.

— Юра, вас к телефону! — кричат мне из коридора. Я встаю и потягиваюсь так, что хрустят плечевые су-

ставы. Вижу в окне, как Кешка, шофер нашего шефа, ходит вокруг машины и поливает ее из шланга. Кешка похож сейчас на китайского фокусника. Голый по пояс, бронзовотелый, он играет с тяжелой ослепительной струей, которая кажется мне каким-то чудом природы.

Я рад, что меня позвали к телефону. Работа не клеится. Не клеится она у меня в такие погожие дни.

— Юрик, это ты? — слышу я в трубке взволнованный женский голос.

— Лена? — я изумлен.

Лена в моем сознании всегда связана с вечерами, с нарядной толпой возле метро, с неоновыми вывесками, с какими-то джазовыми аккордами. Никогда она не звонила мне в такое время. Никогда в это время я не думаю о ней.

— Юра, мне нужно срочно тебя увидеть.

И тут я обнаруживаю, что говорю с ней по внутреннему телефону.

— Ты что, у нас внизу?

— Да. Спускайся скорей.

— Женщины! Сколько ученых вы погубили! — говорю я.

— Довольно! Спускайся скорей!

Она должна была прибавить «ученый балбес» или что-то в этом роде, но не прибавила.

Я бегом спускаюсь по лестнице и вижу Лену.

— Откуда ты, прелестное дитя? — кричу я.

Это последняя попытка. Я уже понял, что что-то случилось, но мне не хочется этого. Не люблю, когда жизнь приоткрывает свой трагический лик. Живешь, смеешься, ссоришься, и вдруг — на тебе — что-то случается.

— Что с тобой, Ленка?

— Юра, я пришла к тебе как к врачу.

— Я не врач, а младший научный сотрудник. Что случилось, говори скорее, а то мне кисло становится.

— Понимаешь, три дня назад папа пришел с работы на три часа раньше...

— Заболел?

— И да, и нет.

— Что же тогда?

— У них было какое-то поголовное обследование, смотрели на рентгене и у папы в легких обнаружили затемнение. Предполагают туберкулез.

— Вот тебе раз!

— Он никогда ни на что не жаловался... никогда ни на что... — говорит Лена и начинает плакать.

— Ну-ну, собери и проглоти все свои слезинки. Это ведь только так страшно звучит — туберкулез. Сейчас он полностью излечивается.

— Правда?

— Ну конечно. Дай бог, чтоб у твоего отца был туберкулез.

— А что может быть еще?

— Ну... Значит, чувствует он себя хорошо?

— Что может быть, кроме туберкулеза, Юрий?

— Ну, мало ли что.

— Неужели может быть это?

— Исключено. — Я вынимаю сигарету, закуриваю и повторяю с металлической нотой: — Исключено.

А Лена заглядывает мне в глаза так, как это бывает в кино:

— Юра, я имею право просить твоей помощи?

— Что за дикий вопрос? Кто же, если не ты...

— Помоги устроить папу в какую-нибудь хорошую клинику. У тебя, наверное, есть знакомые.

— Попробую. Подожди немного.

Я звоню по телефону в институт туберкулеза. Там учится в аспирантуре мой однокашник.

— А, это ты, старик, — говорит Борис. — Как жизнь?

— Прекрасно, — отвечаю я. — Слушай, — говорю я ему. — Знаешь, что мне от тебя нужно?

— Денег нет, — хохочет Борис.

— Боже мой, — вздыхаю я, — как тупеют люди после первого года аспирантуры.

Рассказываю ему обо всем. Человек быстрых решений, Борис кричит, чтобы я немедленно вез «старикашку» к ним в консультационное отделение, так как там сейчас будет принимать сам Метелицын.

— Подожди, Лена, — говорю я и бегу наверх. Отправляюсь у шефа, излагая ему суть дела, причем Лена фигурирует в рассказе как двоюродная сестра.

— Это та девушка, что приходила к нам на первомайский вечер? — вдруг спрашивает «пузанчик».

— Да, — по-дурацки отвечаю я.

— Кузина! Знаем мы этих кузин. Старый и вечно

юный треп. Идите, Юра. Может быть, написать записку Метелицыну?

Я бегу вниз, хватаю Лену за руку, бежим через вестибюль и вылетаем из подъезда. Солнце и ветер ударяют мне в лицо. Я ничего не вижу и вдруг осознаю, что чертовски рад оттого, что вырвался на свежий воздух, что держу за руку Лену. В первый раз мы вместе не вечером, а днем, впервые вместе под солнцем. Невероятно, но факт. И это не так уж плохо. Но я вспоминаю причину и приструниваю себя.

Начинаю различать дома на улице, по которой мы быстро идем, вижу впереди сквер и вижу, что именно туда и тянет меня Лена. Там на скамейке у входа сидит и читает «Огонек» замечательный старик. Бритый, жилистый и сильный, он похож на старого спортсмена, на тренера по теннису, на чемпиона Санкт-Петербурга по конькам или на бывшего летчика. Я сразу его узнаю. Я был у Лены, когда ее родители уехали на дачу, и мельком видел семейный портрет на стене.

— Юра, вот мой папа, — говорит Лена. — Знакомьтесь.

— Я вас сразу узнал, — говорю я.

— Простите, каким образом? — удивляется он.

— По портрету.

Лена тихонько стучает меня по спине, но я упорно поясняю:

— Ваш большой семейный портрет. В столовой, кажется, он висит.

— Да, в столовой, — говорит он и смотрит на Лену.

— Папа, Юра обещал помочь нам. Сейчас мы поедем на консультацию к профессору Метелицыну.

— Объясните ей, пожалуйста, что вся эта паника напрасна, — говорит отец Лены. — Туберкулез сейчас полностью излечивается. Правда ведь?

— Конечно. Несколько месяцев лечения — и все в порядке. Я уже объяснял.

Мне кажется, что Лена немного успокоилась. Она даже улыбается и шепчет мне:

— Ты с ума сошел! Он же ничего не знает.

Это про мое посещение их квартиры.

Мы выходим на улицу и берем такси. И Лена снова начинает волноваться. А старику хоть бы что. Он сидит совершенно спокойный.

Профессор Метелицын идет по коридору. На лоб падает седая челка, в руках он несет горящую папиросу. Это особый профессорский шик — ходить по лечебному учреждению с папиросой. Профессор худой и длинный, как и отец Лены. Я думаю, что они составили бы вполне причинную пару на теннисном корте.

За профессором — обычная свита. И Борька тоже там. Я оставляю Лену с отцом на диване и, салютуя, подхожу к Борьке.

— И где ты только откапываешь таких девочек? — спрашивает он, заглядывая мне через плечо. — Можно позавидовать. Ну ладно. Снимки и анализы есть у старика? Порядок.

Он достает мне халат, и мы входим в обширнейший кабинет, где за столом возле негатоскопа восседает Метелицын, а вокруг человек двадцать врачей. Они по очереди читают истории болезней, ставят на негатоскоп снимки. Метелицын курит, кивает головой, смотрит на снимки. Иногда он коротко бросает диагноз, а иногда предлагает коллегам «порассуждать сообща».

Наступает наша очередь. Борис рассказывает профессору про отца Лены, показывает анализы, ставит один за другим снимки.

Метелицын долго молчит, очень внимательно смотрит на прямой снимок, и мы все смотрим на четкое, круглое, величиной с детский кулачок, пятно на правом легком.

— Страшная штука, — говорит профессор, снимает очки, и я вижу, что у него очень усталое лицо.

— Вы считаете, Антон Петрович, что здесь?.. — спрашивает Борис и бросает на меня испуганный взгляд.

— Да, конечно, это рак. Неоперабельный центральный рак.

Я ошеломлен. Это была моя первая мысль, когда Лена сказала, что у отца что-то нашли, но потом я произнес железным тоном глупое слово «исключено» и сам уверовал в это. Я подумал, что эти страшные мысли появляются у меня из-за моей работы, и даже в глубине души посмеялся над собой.

Профессор долго рассказывает аудитории о рентгенологическом диагнозе рака, о том, как на это дело смотрят в Америке, говорит, что, разумеется, необходимо дополнительное обследование, чтобы диагноз стал бесспорным, что данного больного он возьмет к себе в диагностическое

отделение и, ну да, ну да, применит к нему курс рентгенотерапии, — и все это он говорит обычным ровным тоном.

Но я уже видел его лицо, когда с него вместе с очками съехала обычная маска третейского судьи. Я понял, что он устал, что ему тяжело выносить приговоры.

— Пойдемте в рентгеновский кабинет. Я хочу осмотреть больного под экраном.

Толпа врачей с грохотом приподнимается со стульев. Я первым выскакиваю в коридор. Что-то в нем изменилось. Вероятно, это лица больных, уставившихся на меня.

А отец Лены спокойно читает еженедельный иллюстрированный журнал «Огонек». Торчит его сухое колено, обтянутое хорошей серой тканью, и покачивается великолепный черный ботинок.

Лена беседует с какой-то женщиной.

Все это в высшей степени странно.

Я подхожу и слышу голос Лены.

— И вы совершенно выздоровели? — спрашивает она женщину.

— Да, совершенно, — отвечает та.

— Профессор хочет посмотреть вас, — говорю я.

Старик отдает Лене журнал и встает.

И снова мы видим это страшное пятно, теперь уже на голубоватом экране. Теперь оно движется и не кажется таким круглым, как на снимке. Профессор руками в перчатках из толстой резины двигает за экраном отца Лены.

— Нео, — говорит он, — бесспорно, нео.

Зажигается свет. Профессор встает и кладет руку на плечо отца Лены. Как они похожи друг на друга! Великолепная пара теннисистов — два сухих высоких старика.

— Ну, голубчик, я кладу вас к себе в отделение. В диагностическое отделение.

— Разве диагноз не ясен? — спрашивает отец.

— Еще не совсем ясен.

— Благодарю вас.

Профессор, а за ним все врачи уходят из рентгеновского кабинета.

Остаемся только мы с Борькой и отец Лены. Он одевается.

— Ну вот, — говорю я. — Сам Метелицын вас будет лечить.

— Оставьте, — глухо произносит старик. — Вы думаете

те, я не знаю, что такое нео? Это означает новообразование.

— Ну и что же, — лепечу я, — что же из этого? Бывают и доброкачественные новообразования.

— Оставьте, — повторяет старик, застегивая верхнюю пуговицу рубашки и подтягивая галстук. — Вот что я вас прошу, Юра, — говорит он, — разберитесь с Леной. Не надо так, как сейчас. Лучше уж совсем не надо. Идет?

— Да-да, — говорю я, и мне становится стыдно оттого, что я даже не знаю его имени.

Я беру со стола записку Метелицына, и мы выходим в коридор.

Лена там ходит.

Прогуливается с выздоровевшей женщиной. Видимо, Лена совсем уже успокоилась. Весело улыбается при виде нас.

Я смотрю на ее нарочито растрепанные волосы и искусно подмазанные губы, и на туфельки-гвоздики, и на широкую юбку — на все, что раньше приводило меня в восторг, и все это кажется мне сейчас какой-то дикой чепухой.

Я вижу девушку, которая еще ничего не знает. Девушку, которая, оказывается, мне дорога.

— Спасибо, старик, — говорю я Борису.

Лена прощается с женщиной, и мы втроем спускаемся с лестницы.

— Леночка, Метелицын берет меня в свое отделение. Это большая удача.

— Чудесно! — говорит Лена. — Юрка, ты просто чудесно все устроил.

Да, как это я все чудесно устроил. Все хорошо, что хорошо кончается, — так, видимо, думает Лена.

Я вынимаю сигарету. Теперь я буду курить без передышки.

— Дайте сигарету, — шепчет мне на ухо старик.

Я тайком сую ему пачку.

На улице продолжается солнечный ветренный день. На углу торгуют мороженым. Публика толпится возле автоматов с газированной водой. Тяжелый грузовик с прицепом везет бетонные плиты. Милиционер в голубой рубашке бегом пересекает улицу. Проходят туристы с непомерно огромными рюкзаками. Всюду на лотках масса клубники. Темно-красные горы клубники. Роскошные

бомбочки с зелеными хвостиками и мятые ягоды. Лужицы красного сока. Черные пальцы продавщиц. Афиша летнего мюзик-холла. Парень прошел в потрепанной рубашке. Дзинь-дзинь — падают монетки. Кто-то целуется. Раскрытый в хохоте рот за стеклом телефонной будки.

— Я сейчас поеду на завод. Нужно ввести в курс дела Бунина. А ты поезжай домой и скажи маме — пусть соберет мне вещи в больницу.

— Хорошо, папочка.

Отец подставляет ей щеку, и Лена прикасается к ней своей щекой. Боится испачкать помадой. На мгновение я вижу рядом два глаза — отца и Лены — и поражаюсь, как это могут быть так близко два столь разных глаза? Старик протягивает мне руку.

— Я рад был вас узнать, — говорит он.

Я туго молчу и смотрю на наши руки, на его пальцы с желтоватыми плоскими ногтями, обхватившие мою ладонь.

Старик уходит, и я долго не могу оторвать взгляда от его элегантной фигуры, мелькающей в толпе. Голова у него лишена малейших признаков облысения.

— Понравился он тебе? — слышу я Лену.

— Очень.

— Ты знаешь, Юрка, мне рассказывала женщина там, в коридоре. Она учительница, и когда она заболела туберкулезом, ей пришлось оставить школу. А сейчас она полностью излечилась! Настолько, что ей разрешили снова преподавать. Она там ждала какую-то справку. Здорово, правда?

— Я же тебе говорил, — мямлю я.

— Что с тобой, ученый муж?

— Лена! — говорю я и беру ее за руку. — Я буду думать о тебе всегда. И когда я не буду о тебе думать, все-таки я буду думать о тебе. Так и знай. Всегда и везде.

— Что с тобой?

Я притягиваю ее к себе, и в окружении мороженщиц, продавщиц клубники, туристов, пижонов (всех призываю в свидетели!) я целую ее.

И больше уже не могу. Сажая ее в такси, а сам бегу в метро, бегу по эскалатору, вскакиваю в вагон, растягивая смыкающиеся двери, сажусь, потом встаю и прохожу в конец вагона, заглядываю через плечо человека, читающего газету, прочитываю заголовок передовицы,

потом (когда он переворачивает) что-то о футболе, выхожу на моей станции, бегу вверх по эскалатору, наверху покупаю мороженое («Ленинградское», которое ненавижу), выбегаю на нашу площадь и, только увидев широкие стекла и лобастый фасад института, перехожу на шаг.

Удивленно смотрят на меня в проходной. Я поднимаюсь по лестнице, иду по коридору, и острый запах вивария, словно нашатырь, приводит меня в себя.

Я поправляю галстук, приглаживаю волосы, осторожно бросаю в урну омерзительную бумажку из-под мороженого и вхожу в лабораторию. Анна Леоновна уже снимает халат.

— Что это вы, Юра, прискакали? Рабочий день окончен.

— Я хочу тут немного побыть, — говорю я.

— Мысль?

— Да, мысли.

Я подхожу к окну.

Отмытая до невероятного блеска машина выезжает со двора. Сейчас Кешка подгонит ее к подъезду. В коридоре уже слышатся медленные стариковские шаги шефа.

Я беру с полки журнал и начинаю читать статью нашего шефа, в которой он полемизирует с одним зарубежным исследователем рака.

Я засижусь здесь сегодня до темноты.

Нужно привыкать. Теперь я часто буду здесь засиживаться.

Проходит десять минут, двадцать. Постепенно до меня начинает доходить смысл статьи.



САМСОН И САМСОНИХА

Марк вышел на крыльцо, посмотрел на реку и закурил. Сидевшие на нижней ступеньке большие обернулись. Степанов (обострение хронического полиартрита) как всегда ехидно сощурил свои медвежьи глазки.

— Что же это вы, доктор, лекции читаете о вреде никотина, а сами...

— Да-да, — сказал Марк и спустился с крыльца. Надо проверить, действительно ли Степанов пьет салицилку. Хитрющая личность.

— Домой, Марк Николаевич? — участливо спросил Петя Марютин (болезнь Боткина под вопросом).

— Да-да, — сказал Марк, — вот, как видите.

— Ну, счастливо.

— До свидания, товарищи. Соблюдайте режим.

Больные приподняли соломенные шляпы, а Марк лениво поплелся по дощатым мосткам к берегу.

«Ну, вот, — думал он, — прошел еще один день. Раньше в Ленинграде с окончанием работы день только начинался. Нужно было все время смотреть на часы и куда-то спешить. Придумывал себе массу дел, а оказалось, что все это ерунда. Можно вполне обойтись работой, чтением и сном. И это не так уж нестерпимо. Человек ко всему привыкает».

Солнце жгло плечи. Впереди на мостках лежали две заскорузлые овечки. Бока их тяжело вздымались.

«Дорогу человеку!» — мысленно воскликнул Марк и с облегчением расхохотался. К счастью, он часто представлялся себе в комическом свете.

«Куда же бросить свои кости? Куда же бросить свои... Поеду на ту сторону. Говорят, там красиво. Что ж, завалюсь где-нибудь на лугу и буду читать Багрицкого».

На пароме скрипела гармошка. Коренастый морячок фотграфировал девчат.

— Шпокойно! Шнимаю! Шпортил! — кричал он.

Девчата хохотали. Увидев Марка, они перепли на тихое хихиканье и перешептывание.

«Как всегда, обсуждаются мои брюки», — решил Марк и подошел к знакомому шоферу Игнатию Ильичеву (хронический гастрит). Потолковали о желудке, о событиях в Ливане. Паром тихо покачивался. Наплывал висящий в стеклянном мареве «тот берег». Он был высок и лесист и скалист у подножия.

— ...А вымя у нее, матушки моей, затвердело, как доска, — жалобно повествовала незнакомая тетушка, — видать, гад клюнул.

— Шпокойно! Шнимаю! Шпортил! — орал морячок.

Пыльная дорога круто шла вверх. По сторонам ее тянулись изгороди. Они кончались там, где начинался лес. Там гулял ветерок. Пятна света и тень на траве были в движении. Марк свернул с дороги и пошел тропинкой по лесистому склону. Теперь его окружала сплошная замшевая хвоя, лишь кое-где прорезанная стремительными стволами сосен. Тропинка вдруг взяла куда-то вверх, запетляла и неожиданно вывела к краю провала, на дне

которого стояла черная вода болотца. Над провалом висела выступающая из горы глыба гранита, как бы срезанная по вертикали взмахом гигантской лопаты. А на краю глыбы сидела, свесив вниз босые ноги, девушка. Она была выхвачена из лесного сумрака широким, будто специально направленным лучом. Лицо ее было запрокинуто, глаза закрыты, губы застыли в улыбке.

«Кто это?» — поразился Марк и крадучись полез по краю провала. Когда он откинул ветку и ступил на гранит, девушка вскрикнула и вскочила. Тонкая фигурка в коротком цветастом платье казалась брошенной на темный фон хвои несколькими мазками размашистого живописца.

— Здравствуйте, — сказал осторожно Марк. Теперь он узнал ее — это была учительница географии из семилетки. Как же ее зовут? Ах да — Клавдия Петровна. Как-то она приводила своих ребят на рентген. Кажется, она приехала сюда на работу одновременно с ним. Но почему он раньше не замечал, что она... Ну конечно, она красива. Волосы распущены, падают на грудь, глаза — ого!

— Идеальная танцплощадка, правда? — он обвел руками гладкую поверхность. — И даже со световыми эффектами.

Она молчала, искоса глядя на него.

— Я вас испугал? Простите. Можно мне тут побыть?

Они сели на край глыбы. Марк медленно полез в карман за сигаретами. У него было такое чувство, что одно неосторожное движение испугнет девушку и она улетит, как лесная птица.

Учительница судорожными движениями увязывала волосы в пучок. Шпильки, зажатые в губах, дрожали.

«Это жестоко», — думал Марк, украдкой глядя, как умиряют золотистый водопад.

— Какая замечательная погода. Большая редкость для этих мест.

— Сегодня Самсон, — сказала девушка.

— То есть?

— Сегодня Самсон, а завтра Самсониха. В народе по этим дням предполагают лето.

— Значит, если эти два дня будут безоблачными, то и все лето будет таким же?

— Да. Это очень точно.

— Конечно. Я в это верю. Мудрость, собранная по каплям за века.

— Мудрость и поэтическое чувство.

— Да? Поэтическое?

— Да-да, смотрите — народ добавил к каждому имени в святцах яркие словечки: Василий-капельник, Авдотья-плющица, Федосья-колосница, Акулина-бузондунья...

— А это еще что такое?

— День появления оводов. Овод летит — б-з-з-д-д-п-п.

— Великолепно! Но Самсон с Самсонихой? Тут уж, по-моему, голый расчет. Отдаленный прогноз для покоса, молотьбы.

— Не совсем. Считается, что кому в эти дни улыбнется счастье...

— Тот будет счастлив всегда! — воскликнул Марк с радостным чувством. Девушка улыбнулась.

— Во всяком случае, до следующего Самсона.

Марк смотрел на загорелое чуть скуластое лицо и едва сдерживал желание положить ей руку на затылок, под тугой пушистый пучок, и глубоко заглянуть в глаза.

— Вы, значит, местная? — спросил он.

— Да, и родилась и жила здесь всегда. Только вот техникум кончала в Ленинграде. А вам, Марк Николаевич, нравится наш край?

Ему стало немного досадно оттого, что она назвала его по отчеству.

— Да я и не видел его, — ответил он. — За год первый раз из поселка выбрался. Работа.

Она вдруг схватила его за руку.

— Хотите, я вам покажу?

— Что?

— Все. Нужно только подняться вверх.

Она вскочила, сунула ноги в босоножки, схватила кофточку и книгу.

— Бежим?

Они побежали по извилистой крутой тропинке. Девушка стремительно неслась впереди, изредка оборачивая к нему разгоряченное лицо. Марк спортивно работал локтями. Чем выше, тем прозрачнее становился лес, и наконец они выскочили на круглую, как набалдашник, вершину. Здесь росла только высокая трава и раскачивались на тонких ножках веселые пузатенькие желтые цветы.

— Это балаболки, — она протянула ему несколько сорванных на бегу цветов. — Ну, смотрите!

С вершины открывался вид на громадное пространство. Оказалось, что поселок почти со всех сторон окружен водой. Девушка засемафорила руками.

— Это наша река. Это канал. Старинный. Еще Петр Первый путь на Волгу копал.

— Ну, это я знаю.

— А это наше море. Что? Чем не море? И берегов не видно, и штормы бывают страшные.

Марк знал это громадное озеро только по карте, на которой оно представлялось ему сравнительно большим, но все-таки только пятнышком голубой краски. Сейчас он был удивлен — действительно море. И лихтеры вон стоят такие же, как на Балтике.

— А вон видите, Марк Николаевич, на берегу круглую горушку? Она ведь пустотелая. Правда-правда. Это финны себе сделали в ней крепость во время оккупации. Мы там после войны жили — поселок-то весь сгорел. А там, — она махнула рукой на северо-запад, — в тайге множество мелких озер и рек. Отсюда видны только Гим-река и Шум-озеро.

— Почему Шум? Шумит?

— Да, все время стоит странный какой-то шум. Необычайная роза ветров — дует со всех сторон. Вечная зыбь. Березки трепещут. Сосны гудят.

Марк больше не слушал объяснений. Он только смотрел на ее лицо, на глаза, на фигуру, залитую розоватым светом опускающегося за лес солнца. Она поймала его взгляд, смутилась и села в траву.

— Что вы читаете? — спросил он и потянулся за книгой.

— Ничего. Просто так, ерунда, — быстро сказала она и вырвала книжку.

— Вы открыли мне ваш внешний мир и не пускаете во внутренний, — он усмехнулся своей тяжеловатой шутке. Девушка бросила искоса испуганный взгляд и стала торопливо надевать кофточку.

— Надо возвращаться, — сказала она, вставая. Она вдруг стала чопорной и скучной особой в шерстяной чехословацкой кофточке. Что случилось? Чем он ее спугнул?

В лесу было совсем темно. Марк пытался шутить, но она едва отвечала. Когда они вышли на дорогу, он взял

ее под руку. Она мягко, но решительно освободилась. Он примерялся и так и сяк — ничто не помогало. В досаде он отстал на несколько шагов, закурил и посмотрел ей вслед. Сухонькая и прямая, она методично вышагивала по дороге. Трудно было поверить, что эта явная ханжа полчаса назад была гибкой, как ивовый прут, девушкой с горящими лукавыми глазами, что еще раньше она сидела в луче солнца с распущенными волосами и какая-то мечта бродила по ее лицу. И тут Марк догадался, почему он не замечал ее раньше, не выделил из всех. Вот именно это общее, «местное» выражение. При встрече любая девушка в поселке подожмет губы и посмотрит мимо тебя нарочито безразличным взором, всем своим видом говоря: «Не воображайте, я не из таких». Ну нет, ты-то не возьмишь меня на эту пушку. Теперь я знаю, какая ты...

К счастью, на пароме никого не было. Стояли только два грузовика, шоферы спали в кабинах. Девушка подошла к перилам и безучастно отвернулась от Марка.

— Да перестаньте же, — почти заорал он. — Прошу вас. Что такое? Клавдия Петровна, ведь сегодня такой день... Самсон. Вы это учитываете? Скажите, почему вы так переменялись?

Она повернула к нему лицо. Оно вдруг оказалось смущенным и совсем детским.

— Я боялась, что вы начнете обниматься. В Ленинграде все молодые люди...

Боги! Марк, обессиленный, присел на палубу, затрясая в немом старческом смехе. Девушка тоже смеялась вместе с ним, но только громче, на всю реку.

— Я дура, да? Да? — спрашивала она.

— Вы прелесть, — проговорил Марк, задыхаясь.

Через минуту они стояли рядом, облокотившись на перила, смотрели на закат. Марк, рассекая воздух ладонью, читал Багрицкого.

Через десять минут они спрыгнули на берег и пошли по улице, взявшись за руки. За их спинами из-за заборов выскакивали любопытные головы. Марк, рассекая воздух ладонью, продолжал читать Багрицкого.

— Вот мой дом, — сказала она. — Посидим?

Они уселись на лавочке, не разнимая своих рук. Марк махал рукой так, что ему стало трудно дышать. Через два часа, когда кончился медленный северный закат и началась белая ночь, Марк сказал:

— Какие виды на Самсонику?

— Судя по закату, она будет чудесной,—ответила она.

— Значит, после работы там же или на самом верху?

— Наверху.

— Ну и так как... в Ленинграде все молодые люди...

— Нет,—прошептала она, вырвала руку и убежала.

Наутро по поселку полетели слухи. Беспроволочный телеграф работал с полной загрузкой.

— Клавка-то Гурьянова — слыхали? — с длинным доктором гуляет.

Длинный доктор тревожно поглядывал на небо. Нет, все в порядке — ни одного облачка. То же дрожащее марево. Березы дремлют. Скот неподвижно лежит в траве.

Марк быстро промчался по палатам, сделал перевязку послеоперационному больному, две намеченных на сегодня новокаиновых блокады. После этого он прошел в кабинет и стал торопливо записывать дневники. Может быть, удастся освободиться сегодня пораньше. С самого утра перед ним мелькали сцены вчерашнего дня. Он переворачивал страницу истории болезни и видел прыгающее по камням цветастое платье. Он закуривал, и в дыму сигареты на него надвигались смеющиеся и какие-то беззащитные глаза Клавы.

Освободиться пораньше не удалось. К концу рабочего дня из леспромхоза привезли женщину, нужна была срочная операция.

К хирургии Марк относился со священным трепетом. Во время работы в операционной он забывал обо всем, что с ним было раньше, и не думал о будущем. Сейчас, ожидая Кулагина и прислушиваясь к глухому рычанию засыпающей под наркозом женщины, он смотрел в окно. Занавески еще не были задернуты, и было видно, как две тонконогие девчонки бежали по мосткам, распугивая кур.

«Это, наверно, Клавины ученицы,—думал Марк.— А через несколько лет они будут такими, как она. Будут мечтать и поджимать губы».

В операционную с поднятыми руками вошел Кулагин, торжественный и суровый, как магистр тайного ордена. Первый раз, когда Марк увидел его таким, он чуть не засмеялся. Но потом привык. В операционной Лука Васильевич всегда преображался. Здесь он ничем не напоминал тощего сорокалетнего бобыля, над чудачествами которого потешался весь поселок.

Операция кончилась через два часа. Обычно после таких сложных операций оба хирурга долго еще разговаривали в ординаторской, а потом шли вместе в кино или в чайную и почему-то не расставались друг с другом до позднего времени. Но сейчас Марк как угорелый вылетел из операционной.

Бросив халат на руки санитарки, он выбежал из больницы и устремился к берегу. До парома вдоль берега бежать минут двадцать, и когда он еще пойдет, черт знает. Марк спихнул в воду чью-то тяжелую лодку, сунул весла в уключины и рывками погнал ее к высокому берегу. Придется пробираться через лес, напрямик.

Полчаса спустя, взмыленный, он выскочил из леса. На вершине медленно шли тихие волны, будто кто-то проводил гребнем по траве. Клавы не было. Он взлетел на самый верх и увидел ее. Она лежала в траве шагах в десяти. Ее тело, обтянутое пестрым платьем, заброшенные за голову голые руки, застывшая улыбка выражали полную безмятежность.

— Клава! — позвал он.

Она мгновенно вскочила на ноги — будто автоматически сработала внутри какая-то пружина, — увидела его и помахала рукой, щурясь от солнца:

— Привет, Марк!

Он медленно пошел на нее, замечая, как сгибаются под сандалетами балаболки. Клава смотрела исподлобья и с каждым его шагом все ниже наклоняла голову...

Тонкие бледно-зеленые побеги уходили в синеву, как невиданный нежный лес. Оказалось, что у подножия этого травяного леса кипит жизнь. Какие-то жучки, букашки, вспугнутые ими, теперь возвращались и носились по краю разоренного пространства. Марк перевернулся на спину, и Клава положила голову ему на плечо. Ее спутанные волосы пахли травой сильнее, чем трава.

Он вытащил из кармана сигарету, щелкнул зажигалкой и закурил. И тут же ткнул сигарету в землю — струя дыма, пущенная им в поднебесье, напомнила что-то из прошлого. Он всегда курил после этого так, как курят разные замечательные парни в кино. Нет, сейчас это ничем не должно быть похоже на то, что было раньше, с другими. Нужно переждать. Еще несколько ударов сердца, несколько вздохов...

— Клава, — сказал он, — милая птица...

Она вздрогнула, подняла голову, и вся осторожность мигом слетела с него. У нее были смеющиеся, лукавые глаза.

— Марк, ты веришь в приметы? Ты... — она погладила его лицо, — ты красивый.

— Ну да? Я красивый? Вот новость!

— Правда-правда! У нас многие девчонки по тебе вздыхали. Но ты же гордый — никуда не ходишь. Вот и не знал.

— То есть как это никуда не хожу?

— Ну, в клуб.

— А ты ходила в клуб?

— Редко.

— Почему?

— Потому... потому что ты туда не ходил.

Он приподнялся на локте.

Клава смотрела на него храбро-храбро.

— Тебе бы, знаешь, — проговорил Марк, — тебе бы шест в руки, и чтобы ты с шестом стояла в лодке.

Она засмеялась.

— А я хочу на байдарке. У меня второй разряд по байдарке.

— Нет, не на байдарке. На какой-нибудь старой лодке, на челне...

Солнце закатилось за лес. Темный бор вытянулся неровной волной, как вырезанный из жести. Темный бор, русский, древний, напоминающий сказку о Коньке-Горбунке. Над ним снова горел закат.

— Как будто разлили банку марганцовки, — сказал Марк.

— Посмотри, — протянула руку Клава, — это длинное облачко похоже на республику Чили.

Марк взглянул на фиолетовое облачко.

— Правильно. А в середине, где сияние, столица — Монтевидео.

— Не Монтевидео, а Сантьяго. Не знаешь географии.

Они повернулись спиной к закату и стали спускаться с холма. На востоке белая ночь уже опустила свои прозрачные шторы. В сумраке по каналу шел тральщик, сигналил ратьером.

— Ты хотела бы жить в Чили?

— Нет. Побывать хотела бы, а жить нет.

— Ну, а в Москве, в Ленинграде, в Одессе?

— Ах, мне очень хочется поездить и посмотреть весь белый свет. Ведь я же географ.

— Нет, а жить, жить в громадном городе? Смотреть по вечерам сверху на огни, блуждать по улицам, заходить в рестораны? Театры, выставки, матчи! Неужели не хотела бы жить там со мной?

— Марк, разве ты уедешь? — спросила она с неожиданной тоской.

Он опустил голову.

— Не знаю. Теперь, когда ты, для меня все прекрасно — и эти домишки, и овцы, путающиеся под ногами. Но еще вчера я был на пределе. Не мог. Не привык я к этому. Застойная тихая жизнь. Сколько у нас тут жителей? Тысяч пять, шесть? Всех уже знаю в лицо и половину по имени. Тридцать процентов женщин прошло передо мной, понимаешь, неглиже. А со временем будет и все сто — профилактические осмотры. Невозможно жить в таком маленьком поселке и знать все его болячки. Ведь я не только доктор...

— Ну, а если ты полюбишь... не только меня, но и всё? Наши реки, озера, поселок, людей. Понимаешь? Ведь можешь же ты полюбить все это.

— Я уже люблю, потому что это ты.

Река, горящая зеленым огнем, и темная куча поселка были у них под ногами. Клава задумчиво шла вниз, резкими машинальными движениями ломая прутья.

— «Застой», — сказала она. — Посмотрел бы ты в срок пятом. Одни трубы торчали. А сейчас вот все отстроились, школа есть, больница. На пристани порталные краны стоят. Клуб у нас паршивый, правда, но сейчас решили новый строить, большой, со спортзалом. В будущем году подстанцию пустят — ток пойдет от магистрали высокого напряжения. Тогда и телевизоры можно будет покупать.

— Я переменил много мест, — проговорил Марк. — Города мелькали перед глазами. Сначала война. Эвакуировались из Киева. Попали на Дальний Восток. Потом Фрунзе, Свердловск, Николаев, Ленинград... Отец был армейским врачом. Вот только Ленинград крепко зацепил меня за сердце. Или это годы были такие, студенческие.

Клава остановилась и прижалась к нему.

— Ничего, милый. Ты полюбишь и наш край. — Она

засмеялась. — Будешь старожилом. Мужики тебе будут говорить. «Здоров, Николаич! Как твоя старуха?» Правда?

— Да-да, — грустно сказал Марк. — Вероятно.

Почему-то он представил себе эту Клавину сценку зимой. Все в шубах и валенках, а он в фетрах. И Клава идет из школы, закутанная и совсем не такая, как сейчас. Ему не хотелось зимы.

Они выбрались на берег, нашли похищенную лодку и столкнули ее в воду.

— Выкупаемся? — спросила Клава.

— Что ты! Вода еще очень холодная.

— Вот и хорошо — мне нужно охладиться, а то я в тебя уж очень влюбилась. Отвернись!

Она бросила платье на камень и смело, одним махом, вбежала в воду. Марк взял платье, маленький теплый комочек, понюхал его, и в голове помутилось от нежности. Буду старожилом! Буду хоть пещерным человеком. Здоров, Николаич! Как твоя старуха?

Прощались они на этот раз недолго.

— Не провожай меня, — сказала Клава, — завтра встретимся там же.

В последний раз поцеловав ее, он бодро пошел домой. Он стучал каблуками по доскам и насвистывал негритянскую песенку.

Он снимал комнату в диковинном домике на берегу. Давно уже председатель пристанского месткома приставал к нему с предложениями занять двухкомнатную квартиру в новом, единственном в поселке трехэтажном доме. Марк медлил, посмеивался, благодарил. И он сам и хитрый предместкома прекрасно понимали, что такая квартира к чему-то обязывает. А Марку хотелось сохранить ощущение временности своего пребывания здесь, поэтому он и возился, как слон, в шестиметровой комнатенке, хранил книги, белье и даже продукты в чемоданах.

Подойдя к калитке, Марк пошарил рукой сбоку на заборе — щеколда была с секретом — и проник во двор. Хозяева — дисциплинированное семейство старого речника — пили чай на веранде.

— Добрый вечер, — сказал Марк приветливо. Ему хотелось поговорить сегодня с этими славными людьми, которые превратили свой дом в смешной и загадочный ящик, хотелось, чтобы они пригласили его к столу.

— Марк Николаевич, вам почта.

— Да? Интересно.

Он вошел в дом и боком мимо печки пробрался в свою комнату. Конечно, опять зацепился плечом за гвоздь. Надо будет завтра пойти посмотреть эту квартиру в новом доме. Обязательно. Интересно, от кого письмо? Где же лампа, черт побери? Фу ты, где же она?

Так и не найдя лампу, он достал карманный фонарик и направил луч света на стол. В мутном желтом кругу он увидел большой конверт со штампом наверху — «Ленинградский научно-исследовательский институт...» Он усмехнулся и полез в чемодан за новой пачкой сигарет. Он знал, что там, в этом конверте, — замаскированное округлыми словами «иди ты к черту». Месяц назад по объявлению в «Медработнике» он послал документы на конкурс в этот институт, описал свои работы в студенческом научном обществе. От этой жизни и не то взбредет в голову. Почему это именно он, Марк, деревенский лекарь, пройдет в этот всемирно известный институт? Мало ли в Ленинграде талантливых и преуспевающих парней? Детские мечты.

Он затаился пару раз, сунул сигарету в рот и рванул конверт. «...сообщаем Вам, что дирекция и Ученый совет института одобрили Вашу кандидатуру на должность младшего научного сотрудника отделения экспериментальной патологии».

Вот это да! Померещилось, что ли? Нет, все верно — «...одобрили... на должность...» Боже мой! Целый шквал счастья! И неожиданно, как всегда. Ну и день!

Он снова схватил письмо и впился глазами в текст. Внизу, ниже подписи, была приписка: «Рекомендуем прибыть для оформления в самый кратчайший срок».

Марк быстро вышел на веранду и обратился к хозяину:

— Борис Егорович, когда ближайший пароход на Ленинград?

Все изумленно уставились на него.

— «Шексна» сейчас стоит на пристани, — хозяин вынул часы, — через пятьдесят минут отвалит.

— Ах черт! А следующий?

— Следующий только через два дня будет.

Два дня и двадцать часов хода до Ленинграда. А за это время какой-нибудь прохиндей завернет в институт и... Знаем, как это делается. Недаром же они пишут «ре-

комендуем». Еще могут пересмотреть. Иначе писали бы «просим». На «Шексне» завтра к вечеру можно быть в Ленинграде. Взять такси. Успею до закрытия!

Марк круто повернулся, вбежал в свою комнату, вытащил чемодан, свалил туда какие-то вещи, быстро пересчитал деньги, надел пиджак. Не отвечая на вопросы хозяев, он пробежал через сад и устремился к больнице.

Кулагин жил во дворе больницы во флигеле. Марк ворвался к нему в тот момент, когда он, окончательно ожесточась в холостяцкой мерзости своей комнаты, привычным движением сдирал сургуч с поллитровки.

— Лука! — крикнул Марк с порога и бросил на стол письмо. — Смотри!

Кулагин взял бумагу, прочел и печально взглянул на Марка.

— Ты уже с чемоданом?

— Да, бегу на пристань. «Шексна» стоит. Расчет по почте. Что головой качаешь? Прошедших по конкурсу удерживать не имеют права. Я законы знаю.

Кулагин встал, быстро хлебнул из горлышка и подошел вплотную к Марку.

— Хочешь водки?

— Только скорей.

Марк выпил полстакана, вытер губы рукавом и торопливо сказал:

— Ты понимаешь, там большие дела делаются. Наука... Я тебе напишу. Прощай!

Они обнялись. Марк бросился к двери, распахнул ее и, задержавшись на мгновение, сказал:

— А здорово мы с тобой здесь оперировали. Просто здорово, Лука.

В окно Кулагин видел, как Марк пробежал к квартире шофера. Пять минут спустя «санитарка» выехала из ворот больницы.

«Через год он забудет мое имя», — подумал Кулагин и резко, как бы набравшись мужества, повернулся лицом к своей комнате.

«Шексна» — трехэтажная плавучая вилла — сияла широкими стеклами и белизной окраски. Это был экскурсионный теплоход, но иногда его пускали и по пассажирским линиям Северного пароходства.

Марк поднялся на самый верх — свободные места были только в первом классе. Отражаясь сразу в несколь-

ких зеркалах, он прошел по коридору, нашел свою каюту, бросил туда чемодан и вышел на палубу. Все. Завтра он будет в институте. На пристани возьмет такси и... Проспект Обуховской обороны, потом выезжаем на Старо-Невский... Площадь Восстания. Дальше или по Невскому — боже мой, Невский! — или можно через Литейный мост, Гренадерский... Какое там оборудование, в этом институте! Он видел раз в киножурнале. Электронная техника, изотопы... Кажется, там кто-то работает из их выпуска. Снова настоящая жизнь, настоящий ритм. Люди, люди, множество лиц, множество оригинальных идей, острых слов. Надо будет спать новый костюм. Самый модный. Мравинский взмахивает палочкой, мощные волны Пятой симфонии идут по залу. А он, Марк, как в студенческие годы, на галерке. Нет, теперь уже внизу, в партере. Как-никак научный сотрудник. Младший. Ха-ха, сегодня младший, а завтра... А в общем, это ерунда — новый костюм. Нужно будет много работать, варить котелком. Конечно, трудно придется сначала. Пока овладеешь методикой, наладишь контакт с людьми, то да се... С пропиской, наверное, не будет трудностей. Надо будет снять комнату где-нибудь на Петроградской, на проспекте Щорса или на Карповке. Эстрадные концерты в «Промке»... Раз в неделю, нет, раз в месяц...

Он пошел на корму и заглянул в окно ресторана. Там было пусто, только у буфета что-то подсчитывала молоденькая крашеная официантка. Он вошел в ресторан и обратился к ней:

— Можно у вас водки выпить?

Она удивленно и заинтересованно посмотрела на него.

— Вообще-то можно.

— А в частности?

— А в частности мы уже закрылись.

Марк легко улыбнулся. Ему было приятно смотреть на официантку, на ее прическу и фасон платья.

— Вы сами из Ленинграда? — спросил он.

Официантка кивнула, но тут же заметила:

— Буфет уже закрыт, ничего не отпускают.

— Я тоже ленинградец, — снова улыбнувшись, сказал Марк.

Официантка ответила ему довольно откровенной улыбкой.

Внизу загудели турбины, судно качнулось. Марк вы-

шел на палубу. Теплоход быстро удалялся от причала, на котором стояли безучастные и громоздкие грузчики. Теплоход сделал поворот, и пристань осталась за кормой. Открылась светящаяся в прозрачной северной ночи водная дорога. На горизонте в густой синеве краснел глазок бабена.

«Черт, в этой спешке не успел сообщить Клаве», — подумал Марк.

Эта мысль пронзила его как ток, но он постарался перевести ее в бытовую интонацию. Не беда, он сообщит ей завтра. Прямо с ленинградской пристани даст телеграмму. Да она и сама узнает. Завтра весь поселок будет знать. Но он все равно даст телеграмму и в тот же день напишет письмо. И будет писать ей каждый день, каждую неделю. Она не обидится, она же умная девочка. Она приедет к нему, и они будут жить вместе на проспекте Щорса или на Карповке...

— Хорошее будет лето, — услышал он рядом женский голос.

Близко от него стояла, опершись на перила, официантка. У нее было усталое и не очень молодое лицо.

— Откуда вы знаете? — резко спросил Марк.

— А я уже второй год на этой линии стою. Все местные приметы знаю. Сегодня Самсониха, а вчера был Самсон...

Стиснув зубы, Марк большими шагами ушел на корму. Самсон и Самсониха, думал он. Прогноз счастья на целый год. Она проснется завтра утром и первым делом посмотрит на небо. На небе не будет ни облачка. О, как бы я хотел, чтобы завтра было безоблачно!

Теплоход, бурля винтом холодную ртуть реки, выходил на фарватер.



ПОЛТОРЫ ВРАЧЕБНЫХ ЕДИНИЦЫ

На озере катер попал в болтанку. Барсуков сидел в каюте на клеенчатом диванчике и с отвращением смотрел в иллюминатор, который то поднимался в серое, понурое небо, то зарывался в сплошную зеленовато-желтую муть. Дверцы каюты открылись, и на трапе показались толстые подошвы. Семенов с трудом протащил свое тело внутрь, откинул капюшон, вытер мокрое румяное лицо и весело сказал:

— Разбушевалась стихия, прямо море-окиян! Ну как, Максим Сергеевич, легче?

Барсуков промолчал.

— У вас, кажется, высокая температура. Примите

норсульфазол, а лучше всего водочки с перцем. В каюте холодно, июнь, черт его побери!

Озноб давно прошел. Барсукову было очень жарко, его душил кашель, и колело в левом боку. «Пневмония», — подумал он и сказал:

— Давайте и то и другое.

— Скоро будет пристань. Может, вам лучше там остаться?

Барсуков плотнее завернулся в макинтош, он чувствовал: температура, наверное, не меньше сорока.

— Есть у меня страшный вражина, Виктор, — проговорил он, — мистер Ревматизм. Это вероломный тип. Стоит чуть зазеваться, как он нападает, и уж тогда, как говорится, ни дохнуть, ни...

— Пойду скажу, чтобы заворачивали, — пробормотал Семенов и полез наверх.

— Не надо! — крикнул ему вслед Барсуков.

«И угораздило же вчера после осмотра верфи попасть под дождь! Ничего, до Ленинграда не загнусь, а там на самолет — и в Москву. Ленушка дома пенициллином накачает, и опять здоров старый конь — тащи воз, бери призы на скачках».

Резкая боль в правом коленном суставе, словно прошла сквозь тело длинная игла, заставила его застонать. Начинается! Теперь, он знал, суставы вспухнут, нельзя будет шевельнуться. Он встал, высунул голову в люк и крикнул:

— Виктор! Поворачивайте к пристани.

— А мы уже подходим, Максим Сергеевич, — ответил из рубки Семенов.

Сквозь частую сетку дождя были видны голубые постройки пристани и белый красавец — теплоход «Онега», ошвартовавшийся у причала. Здесь, за выступающим далеко в озеро каменистым мысом, волны были меньше. Катер бойко подбежал к причалам.

Семенов взял было Барсукова под руку, но тот досадливо поморщился — оставьте! — и, тяжело ступая, медленно пошел к проходу, за которым теснились в ожидании посадки пассажиры, в основном женщины с малыми детьми, с мешками и деревянными чемоданами.

Барсуков открыл калитку; должностное лицо, приставленное для порядка, робко отступило.

- Где начальника найти? — спросил Барсуков.
- Начальник у нас уехавши, в отпуске.
- Ну кто там, зам или кто?
- Зам есть. Пожалуйте прямо, потом налево.
- Проводите! — коротко приказал Барсуков.

Заместитель начальника пристани Иван Сергеевич Сбигнев чаевничал у себя в кабинете, когда раздался короткий стук и в комнату вошел тяжеловесный мужчина явно не местного вида. Макинтош из серого наитончайшего габардина струился вниз серебристыми волнами. Такой макинтош был затаенной мечтой Сбигнева. Под мышкой вошедший держал кожаную папку с молниями.

— Здравствуйте, — сказал незнакомец. — Моя фамилия Барсуков. — И протянул Сбигневу широкую ладонь.

Барсуков? У Сбигнева похолодело где-то внутри. «Что его к нам занесло? Он же был в... Вот оказия!»

— Сбигнев, — растерянно пробормотал он. — Прошу вас, садитесь. Чем могу служить?

В кабинет без стука ворвался Семенов.

— Разузнал, Максим Сергеевич! Больница водников, двадцать пять коек. Врач, как говорят, хороший.

Барсуков повернулся к Сбигневу.

— Вот, товарищ... Сбигнев, придется мне у вас отлежаться денька три: ревматизм разыгрался. Связь с Москвой у вас есть?

— С Москвой? — Сбигнев растерянно моргнул.

— Я имею в виду телефонную связь. Мне нужно будет часто говорить с Москвой.

— Это сделаем, обеспечим, товарищ Барсуков. Слышимость удовлетворительная.

— Ну хорошо, Виктор, вы не задерживайтесь! Попросите Нестеренко отложить заседание коллегии до четверга. Впрочем, я сам ему позвоню. В Ленинграде распорядитесь насчет катера. Отправляйтесь!

— Максим Сергеевич, я хотел бы вас...

Барсуков поморщился: боль усиливалась.

— Вы слышали, что я вам сказал?

Он протянул Семенову руку, насильственно улыбнулся.

— Не обижайтесь. Вы дельный парень. Съездили мы с вами хорошо, да вот только чепуха эта немного напортила. В общем, проваливайте, товарищ Сбигнев обо мне позаботится.

— Это безусловно, не волнуйтесь! — Сбигнев суетливо вскочил. — Сейчас распоряжусь насчет машины.

Он вышел из кабинета вместе с Семеновым. Максим Сергеевич видел в окно, как Семенов обычной своей энергичной походкой пошел к причалу и спрыгнул вниз, на палубу катера. Барсуков поймал себя на том, что уход Семенова вызвал у него странное детское чувство одиночества и незащитности.

...Пристанский «газик» уехал по разбитому булыжнику мимо низких бревенчатых строений. Улицы поселка под непрерывным морозящим дождем выглядели нерадостно. По дощатым мосткам спешили согбенные фигурки. Холодные тучи, как стадо животных с тяжелыми, отвисшими животами, двигались со стороны озера. Барсуков хорошо знал свойства этого северного края. Непривычному человеку здесь в такую погоду впору в петлю лезть: на редкость мрачные мысли внушает этот пснурый пейзаж. По стоит доброму ветру разогнать тучи, как природа вокруг оживает и воздух наполняется особым, пронзительным блеском. Озеро, подобное морю, вытекающая из него река и великое множество мелких озер в лесах—вся эта огромная масса воды отражает солнце и распространяет вокруг пронизывающее сияние. Тогда меняются и люди.

Однако сейчас Барсукову было не до погоды. Затихшая было боль возобновилась с новой силой. Суставы горели, в груди будто возился кто-то и сжимал временами сердце в огромной пухлой лапе, оглушительно стучало в висках. Ему казалось, что сейчас он потеряет сознание.

«Газик» выехал из поселка и помчался по берегу реки, которая в этом месте вытекала из озера сразу мощным потоком. Барсуков видел на середине реки темный силуэт самоходной баржи и свой маленький катер, несущийся ей вдогонку. Ему показалось, что катер вот-вот врежется в баржу. «Что они делают? Идиоты! Семенов... Славный малый Семенов! Такие люди нам нужны. Интересно, женат ли он? Ленушка в девках засиделась... Лена... Лена! Это папа. Да, это я, старик. Девочка, я немного задержусь. Коллегия... Нестеренко... Товарищи! Меня просили быть кратким... Что? Почему у вас такие лица? Погибаем? Я погибаю? Налетим на баржу? Нет! Нет!»

Сидящий на заднем сиденье Сбигнев был смертельно напуган: товарищ Барсуков запрокинул голову и выкрикивал нелепые фразы.

— Колька, гони! Чего доброго, не довезем...

Шофер отжал сцепление и весело ухмыльнулся:

— Довезем, ничего! Жар у них большой. Ничего, мужик здоровый.

Больница находилась в километре от поселка в березовой роще: продолговатое одноэтажное здание барачного типа — восемь окон с марлевыми занавесочками по фасаду. Штат в больнице небольшой — полторы врачебных единицы и пять с половиной сестринских. Полторы врачебных единицы — это Вера Ивановна Горяева, год назад просто Верочка Горяева, выпускница Ленинградского мединститута. Когда привезли Барсукова, Веры Ивановны не было в больнице. В это время она храбро карабкалась на борт баржи № 4165: у жены шкипера начались роды. Через час, когда наследник шкипера мощным воплем возвестил о начале своей жизни, она вышла на палубу и вдохнула полной грудью мокрый воздух. С берега к барже направлялась лодка.

— Вера Ивановна! — крикнули оттуда. Она узнала больничного кучера Володьку Никанорыча. Он греб изо всех сил и весело орал: — Вера Ивановна! К нам министра привезли! Давай скорей!

— Какого министра, что ты мелешь?

— Право слово, министр из Москвы! Сбигнев уже телефон весь оборвал.

В больнице был переполох. Ходячие больные толпились в коридоре. Из дежурки доносились сердитые голоса Сбигнева и Клавы, дежурной сестры. Вера Ивановна, решительно стуча каблучками, прошла прямо в третью палату: только там была свободная койка.

Барсуков лежал в полузабытьи. Он смутно видел женские лица и чувствовал прохладные пальцы, ползающие по его телу. Однако он сказал:

— Доктор, главное сейчас — пневмония. Начните с нее.

— Спокойно, больной, тише, — услышал он нежный женский голос, похожий на голос Лены. — Скажите, есть у вас боли в сердце?

— Очень сильные, доктор.

— Сжимающего характера?

— Да.

Вера Ивановна повернулась к Клаве.

— Начните сразу же пенициллин по двести тысяч че-

рез четыре часа, сделайте камфару и кубик пантопона... Нужно снять спазм коронарных сосудов, — добавила она.

Барсуков закрыл глаза. Все правильно. Славная девочка. Присутствие этого девичьего лица, темных кудряшек из-под шапочки как бы внесло атмосферу домашнего уюта и спокойствия. Если бы не боль, было бы даже приятно лежать в центре всеобщей заботы и чувствовать вокруг себя движение нежных и уютных существ.

Вера Ивановна долго еще сидела возле «министра», выслушивала фонендоскопом сердечные тоны и дыхание, измерила кровяное давление. После уколов пантопона Барсуков уснул. Вере Ивановне понравилась его большая голова с седыми висками, крупные, волевые черты лица. Сразу видно: большой человек. Такими в кино последнее время изображают начальников, временно оторвавшихся от масс, а потом осознавших свои ошибки.

Она совсем забыла о Сбигневе и удивилась, увидев его в дежурке. Он поднялся ей навстречу.

— Ну как, Вера Ивановна?

— Думаю, что все будет в порядке.

— Что вам нужно для лечения? Обеспечим. Может, консультанта вызвать из Ленинграда?

— Что же консультировать? Диагноз не вызывает сомнений. Вот на рентгене бы надо посмотреть, да вы же нам тока не даете.

— Ток дадим, обеспечим. А то, может, вызвать профессора какого-нибудь? Знаете, Вера Ивановна, товарищ Барсуков — очень, очень крупный товарищ!

— Да-да, я слышала... как хотите. Вызывайте.

Человек болезненный, Сбигнев любил медицину и медицинских работников. Даже к этой девчонке, с которой у него не раз бывали стычки по хозяйственным вопросам, он питал определенное почтение. Поэтому он обратился к ней не тоном приказа, а мягко, даже просительно:

— Вера Ивановна, нужно окружить товарища Барсукова заботой. Это будет иметь большое значение для нашей пристани, да и для вас, пожалуй.

— О чем вы, Иван Сергеевич?

— Надо выделить отдельную палату. Я понимаю, у вас перегрузка, но...

— Куда же мне девать больных? Нет, я этого не сделаю.

— А нельзя ли кого-нибудь выписать? Есть, наверно, такие, что залежались? — Голос Сбигнева достиг предела вкрадчивости.

— Нет таких, — отрезала Вера Ивановна и, стараясь не обращать на него внимания, принялась заполнять историю болезни.

— А я все-таки настаиваю на отдельной палате! — повысил голос Сбигнев. — Из третьей можно вынести три койки в коридор, ничего не случится с дедом Малофевым.

Вера Ивановна отбросила ручку и подняла голову. Лицо ее пылало; голос стал звонким и ударил Сбигнева, как гибкий металлический хлыст:

— Как вы смеете? Распоряжайтесь у себя на работе! Там вы позволяете себе ставить беременных женщин на погрузку, а здесь я вам не позволю... Я врач! Понимаете? Мне безразлично, кто мой больной: министр, шкипер или лесоруб.

— Ну, знаете ли, ставить на одну доску лесоруба и товарища Барсукова!..

— А почему бы и нет? — запальчиво воскликнула Вера Ивановна. — Ведь это же товарищ Барсуков. — Она сделала ударение на слове «товарищ».

В голосе Сбигнева тоже появились металлические звуки.

— Я сообщу о вашем поведении в райком. Вместо того чтобы выполнять распоряжение, вы занимаетесь демагогией.

Вере Ивановне стало весело.

— Сообщайте куда хотите, но не забудьте про электричество.

Сбигнев схватил кепку и устремился к выходу.

К вечеру усилился ветер. Он налетал с юго-запада короткими теплыми шквалами. Он раскидал по небу и отогнал к горизонту серые северные тучки с их нудным моросняком. Небо очистилось, но с юга уже наплывала, поднимаясь все выше огромными клубами, темно-синяя могучая туча. Она, казалось, дрожала от страсти и еле сдерживаемой силы, она поглотила солнце и украсила свои края горячей оранжевой каймой, она была воинственна и шла напролом, занимая все небо, но люди, звери и растения ждали ее атаки с радостью, потому что это была — наконец-то — настоящая летняя туча! Потемнело

небо, и вода стала темно-синей, как туча. Стукнули по шиферу первые капли. Туча разверзлась молнией — радостно и плотоядно улыбнулась. Туча загрохотала — и сразу полились вертикальные сплошные струи настоящего летнего ливня. Шум стоял невообразимый. Туча оглушительно хохотала, дождь колотил по крышам, налетавший порывами ветер срывал водяную пыль. Буря!

Созвучные явления, видимо, происходили в организме Барсукова. Он метался на кровати, скрежетал зубами, выкрикивая бессвязные слова: организм мощно боролся с инфекцией. Клава стояла в дверях палаты и смотрела на красного, потного Барсукова. Дважды она проверила пульс и один раз ввела камфару. Она решила не вызывать Веру Ивановну: она знала, что это хорошая буря.

Барсукова разбудил солнечный луч. Скосив глаза, он увидел в окне солнечное утро. Река, мокрая трава и березы — все это дрожало и отражало свет. На потолке плясали солнечные пятна. Барсуков поднял голову. Она оказалась легкой и настолько свежей, что он чувствовал корни волос. Он увидел свое тело, распростертое на кровати. Согнул руку и с удовольствием отметил, как вздулся рукав рубашки под напором бицепса.

«Все же крепкий я мужик, — подумал он. — Вот уже и здоров!»

Он согнул правую ногу. «Э, нет! Больно. Не так, как вчера, но еще есть. Ничего, завтра все будет в норме».

Он посмотрел вокруг. Веселенькая палата: белоснежные стены, печка-голландка, в углу — сверкающая лампа-соллюкс. Ого! Барсуков только сейчас заметил, что находится под внимательным наблюдением четырех голубых глаз. Встретившись с его взглядом, одна пара глаз юркнула под одеяло, а другая весело ему подмигнула. Обладателем ее оказался плешивый дед с громадной седой бородой. Подмигнув Барсукову, он выпростал из-под одеяла костлявые свои ноги, сел на кровати, завязал тесемки кальсон, сощурился на солнце, чихнул и сказал:

— С погодкой вас! Здравствуйте!

Затем сунул ноги в шлепанцы, встал во всем своем непотребном виде, вытаскивая из бороды запутавшийся в ней большой, с пол-ладони, деревянный крест.

— Что, дед, из раскольников сам будешь? — спросил Барсуков.

— Из них, — охотно ответил дед. — Только еще во младости лет, как папаша на меня епитимью наложил, так я из дому и шастнул. Очень уж до гулянок я был охоч.

— И водку пил?

Старик захихикал, крутнул головой, махнул рукой на Барсукова:

— С малолетства.

— А кой же тебе годок?

— Девяносто третий.

— В больнице, чай, впервой?

— Впервой, и то, видишь, фельдшер повалил глисту гнать широкою. Не распространяй, говорит, эпидемию, Малофеич.

Барсукову стало весело. Хороший дед, крепенький, как дубок, и весь лучится доброжелательством! Вскоре поднялись и другие соседи по палате: мрачноватый молодой детина и второй обладатель голубых глаз — мальчик лет двенадцати. Дед Малофеев отдернул шторку.

— А вон и наша Вера Ивановна бежит. Красивая девушка, — вздохнул он.

Барсуков поднялся на локте и взглянул в окно. По березовой роще бежала, прыгала через лужи Вера Ивановна, в очень модном открытом платье, с яркой пляжной сумкой в руке. Ее раскрасневшееся лицо с блестящими глазами было очень молодо. К ней, подхалимски крутя хвостом, бросился прижившийся при больнице пес Степка. Приподнял картуз кучер Володька Никанорыч.

Ей было весело сегодня, казалось, что этот день будет необычным и что сегодня что-то изменится в ее однообразной жизни. Вера Ивановна работала самозабвенно, стараясь не вспоминать то, от чего отказалась, уехав сюда. Свою работу она любила больше всего. С утра до ночи в бегах. Больница, амбулаторный прием, вызовы, снова больница... Старики, дети, роженицы... Катары, пневмонии, переломы, дизентерия... Фонендоскоп, шприц, скальпель... Это сейчас составляло ее жизнь. Она не чувствовала себя отверженной, она писала домой восторженные письма. Но по вечерам, когда она видела на реке движущиеся огни «Онеги» — горящее чудо с зеркальными стеклами, с волнующим джазовым басом, — ей хотелось крикнуть:

«Подождите! Возьмите меня с собой! Я хочу быть с вами, стоять на палубе, танцевать под этот рокочущий ласковый бас. Ведь я еще молода. Остановитесь! Сейчас я плыву к вам. Подождите!»

— Здравствуйте!

Вера Ивановна, затянутая в белый халатик, появилась в дверях палаты и сразу подошла к постели Барсукова.

— Ну, сегодня нам лучше? — профессиональным тоном спросила она.

— Благодарю, лучше, Вера Ивановна, — сказал Барсуков, и в глазах его мелькнули иронические искры. Черт возьми, точно такую же девчонку в Москве он называет Ленкой, и это она, его дочь, а здесь вот стоит Вера Ивановна, доктор.

Вера Ивановна присела на его постель, взяла пульс. Ей было немного не по себе: таких больных она еще не знала. Здешние жители — лесорубы, рыбаки, трактористы — не видели многоэтажных клиник, седобородых профессоров, сложной аппаратуры. Они верили ей, докторше из Ленинграда, и испытывали магический страх перед трубочкой фонендоскопа.

— Доктор, — сказал Барсуков, — я почти здоров. У меня к вам просьба. Дело в том, что товарищ Сбигнев — кажется, так? — обещал мне устроить связь с Москвой. Я попрошу вас позвонить ему и сказать, чтобы мне сюда поставили телефончик.

— Это невозможно, — ответила Вера Ивановна.

— Почему?

— Во-первых, вам сейчас нельзя не только говорить по телефону, но даже и приподниматься. Еще неизвестно, может быть, у вас был инфаркт. Завтра Сбигнев даст машину, и мы съездим в район за электрокардиографом, проверим. А во-вторых, здесь же другие больные, вы должны понять.

Барсуков обозлился. Какой инфаркт? Что она, с ума сошла? Это же значит сорок дней лежать неподвижно. Здесь? Мысль о том, что он не сможет сделать доклада о своей поездке на коллегии министерства в следующий четверг, была ему невыносима.

— Да вы что? Инфаркт? Чепуха! — сказал он грубо. — Вы вот что... Когда «Онега» идет обратным рейсом?

— Дня через три будет здесь.

— Ну вот что, забудьте вы о всяких там инфарктах и лечите-ка меня от ревматизма в ударном порядке. Салицилку в вену начинайте колоть. Прекрасный метод, мне в сорок втором делали на Чукотке.

— Нет, в вену не будем: в сорок втором у вас сердце было другое. Как вы не понимаете? Вы тяжело больны... Крупозная пневмония, обострение полиартрита плюс подозрительные явления со стороны сердца. По инструкции...

Барсуков вспылел окончательно. Она еще берется судить, какое у него сердце! Во всяком случае, оно не боится инструкций. В глубине души он понимал, что ведет себя нелепо и по-детски, но все-таки закричал:

— А как вы не понимаете, что мне в следующую среду необходимо быть в Москве? По делу большой государственной важности!

Вера Ивановна густо покраснела, но сказала твердо:

— Это совершенно невозможно, я не могу рисковать.

— Бойтесь ответственности? Я вам расписку дам! Вы еще молоды, а уже... — Он хотел сказать «трусливы», но сдержался.

«Действительно, черт побери, ты себя не щадишь, горись — да-да! — на работе, а как часто приходится сталкиваться с косностью, равнодушием, трусостью! Замыкаются люди в своей специальности и боятся нос высунуть дальше рамок циркуляра. И эта девчонка ни черта еще не понимает, а бумажек уже научилась бояться».

— Я требую! — начал он.

— Успокойтесь, больной! Нюра, сними с больного рубашку, — хладнокровно сказала Вера Ивановна.

Оставшись без рубашки, Барсуков закрыл глаза в бесильной ярости. И вновь по его телу умиротворяюще поползли прохладные пальцы, мягко уперлась в ребро трубочка.

После обхода к нему подсел дедушка Малофеев.

— Ты, слышь, как звать-то тебя?

— Максим Сергеевич.

— Ты вот что, Сергеич, характер свой Вере Ивановне не показывай. У нас этого не дозволяется. Мужик ты, видать, справедливый, да заносчивый. Так вот, норов свой прячь: она тебе добра желает.

— Да дело-то, дед, государственное!

— Ничего, дело и без тебя пойдет, не пропадет государство наше. Куды ты сейчас поедешь на таких ногах?

А Вера Ивановна, вон, видишь, — дед кивнул на окно, — на прием уже побежала, в амбулаторий, а там у нее дитят больных куча визжит. Мужики говорят, у ей в Ленинграде папаша, может, чуть помене тебя шишка. Могла дома прохладиться, а вот приехала к нам, в пустыню. Бескорыстная женщина!

— Идеализируете вы ее! — с досадой сказал Барсуков.
— Это верно, — охотно согласился дед.

Весь день Барсуков провел в терзаниях. Он знал, что его сомнения необоснованны, что Семенов все выполнит отлично, что коллегия может пройти и без него — доклад он составил еще в Петрозаводске — и что престиж ничуть не пострадает от его отсутствия, но такова уж была его закваска, закалка тридцатых годов: отдаваться делу целиком, самому доводить все до конца, жать вперед, не обращая внимания на недуги свои собственные и окружающих. Мысль же о том, что он может на сорок дней оторваться от дела, выводила его из равновесия.

А за окном лениво плыл жаркий деревенский день. На реке перекликались бабы, стирающие белье. Пес Степка исправно отгонял коров от больничного палисада. В палату залетали бабочки.

К вечеру снова пришла Вера Ивановна, нерешительно подошла к Барсукову. Он лежал на кровати, огромный, сопел носом, молчал. Вдруг загорелись лампочки — Сбигнев сдержал слово.

На следующий день приехал из районного центра молодой чернявый врач с аппаратом. У Барсукова сняли электрокардиограмму. Спустя некоторое время в палату вошла Вера Ивановна и сообщила, что, к счастью, ее опасения не оправдались: в стенке миокарда существенных отклонений от нормы нет.

— Я так и знал! — сердито буркнул Барсуков и закрыл глаза.

Он был рад как мальчишка и, когда Вера Ивановна ушла, даже замычал себе под нос какой-то мотивчик.

Вечером с почты прибежала девушка, принесла телеграмму: «Обеспокоены состоянием вашего здоровья. Пятницу вам вылетает профессор Казин. Доклад получен, поздравляем результатами. Нестеренко». Барсуков бодро черкнул ответ: «Необходимости приезде профессора нет. Дело идет на лад. Барсуков».

Как хорошо жить, когда в стенке твоего миокарда нет

существенных отклонений от нормы, когда можно ворочаться в постели как хочешь! Взял, например, и перевернулся на живот, смотришь в окно на реку, по которой пробегают самоходки, на раскинувшуюся в отдалении ширь озера, на березы, залитые красноватым светом заката. С докладом все в порядке. Семенов, надо думать, добавил в устной форме все, что полагается. В конце концов, даже неплохо поваляться здесь с недельку, подлечиться, успокоить нервы, а то стал давать такие срывы. Нехорошо получилось с Верой Ивановной: накричал, нагрубил. Надо будет извиниться. Но все-таки в принципе он прав. Да, он вспылил, но она-то... Не верит он в ее святость. Раз сидит здесь, значит, корысть какую-нибудь имеет. Периферийный стаж для аспирантуры или что-нибудь еще. Такая красotka! Молодежь теперь совершенно другая, уж это-то он знает. Расчетливые какие-то, трезвые, практичные. Размаха нет, широты взглядов, кипения. Мы старики, а моложе их. Тот же Нестеренко — вулкан, а не человек. А они? Даже его Ленка, уж на что милая девушка...

Барсуков брезгливо поморщился, отгоняя от себя воспоминание о том, как он по просьбе Лены «нажимал на педали» перед ее распределением. Отогнал — и успокоился и стал вспоминать прошлое.

Наш паровоз, вперед лети,
В коммуне остановка... —

пропел он и смущенно кашлянул.

Другого нет у нас пути,
В руках у нас винтовка, —

услышал он за спиной тонкий голос. Обернулся и увидел своего соседа по палате, мальчика Толю.

Прошло десять дней. За это время Барсуков окреп, боли в суставах почти прошли. К концу срока он уже начал с палочкой совершать прогулки до берега и обратно. Вера Ивановна через день просвечивала его на рентгене, следила за тем, как рассасываются в легких пневмонические фокусы. Она была довольна обратным ходом процесса. Барсуков безмятежно отдыхал, вел длинные беседы с мудрым дедом Малофеевым, который, изгнав своего широкого лентеца, приходил теперь каждый вечер «прове-

дать Сергеича»; пел песни с Толей, читал толстый современный роман «Зори весенние» и удивлялся: до чего ж нужно пищет, бес! Несколько раз навещал его Сбигнев, осведомлялся, не нужно ли чего, извинялся за неудобства, намекал на неуступчивый и злобредный характер Веры Ивановны, а в последний раз завел дипломатический разговор о нуждах местной пристани, о нехватке того и сего.

Единственное, что раздражало в это время Барсукова, — это холодно-вежливое обращение Веры Ивановны, ее каменное лицо в разговорах с ним. Она, видимо, сложила о нем определенное мнение. Он видел, что девушка все дни крутится как белка в колесе, слышал рассказы больных о ее добрых делах и злился, не имея возможности к чему-нибудь придраться. Ленушка хоть откровенна, а эта притворяется, корчит из себя добрую фею здешних мест. Ханжа! Порой он чувствовал, что несправедлив, что виноват перед ней, но и это неосознанное чувство вины тоже вызывало раздражение. Он старался быть равнодушным, не думать о ней, но каждое утро со странным чувством смотрел в окно, ждал, когда замелькают среди берез яркое платье и пляжная сумка. «Что за блажь? — удивлялся он. — Вот уж поистине седина в бороду, бес в голову!» С женщинами у Барсукова всегда были простые, благородные отношения, которыми он гордился. Он презирал и ненавидел престарелых ловеласов. Он или любил женщин всем сердцем, как свою покойную жену, или относился к ним равнодушно. Сейчас Максим Сергеевич растерялся: он не мог разобратся в своих чувствах к Вере Ивановне. Да уж не... Она же ровесница Ленки! Чепуха!

В конце недели вдруг резко переломилась погода. Завыл северный ветер ошеломляющей силы. Он гнал в реку огромные массы воды, строчил короткими очередями дождя, вселял тоску в души людей. В такую ночь приятно лежать на койке в теплой, хорошо освещенной комнате, вести неторопливый разговор. Барсуков сегодня был доволен: ему удалось наконец разговориться с молчаливым детинной, соседом по палате. Это был Вейно Хемонен, карел. Оказалось, что он в свои двадцать четыре года страдает язвой желудка.

— Как же это ты успел нажить такую роскошь? — удивился Барсуков. — Водку хлестал?

— Нет, я непьющий, — ответил Хемонен. — Лесной я

человек, третий год в лесу сижу. Питание плохое — консервы да консервы...

— А что ты там делаешь, в лесу?

— Газочурку сушу для дизелей. Ребятишки пугаются, думают, леший, а я школу механизации окончил.

— Да ну? Что ж ты этим занялся? Или нравится?

— Не нравится. Начальство посадило. Надо же кому-то газочурку сушить, трактористам помогать! Тракторы станут — как лес на сплав вытащишь? А лес наш — слышали? — на экспорт идет во все страны! За него золотишком платят.

Барсуков изумился: государственный размах мысли у этого дремучего парня!

Порывы ветра становились все сильнее. Под их ударами старенькое здание больницы поскрипывало, дребезжали стекла. Вдруг погас свет.

— Провода сорвал, — заметил Хемонен.

Барсуков распахнул шторку, и ему стало жутко. По черному небу стремительно неслись серые рваные тучи. В прорывах туч мелькала полная луна, озаряя все нереальным, зловещим светом. Березы угрожающе раскачивались, а река... Река была здесь, до странности близко. Она вздулась, выгнула хребет, шевелилась, как громадное чешуйчатое пресмыкающееся. По ее спине прыгали маслянистые холодные лунные пятна, она, казалось, двигалась на больницу.

— Большая вода будет. Как бы не затопило нас, — озабоченно пробормотал Хемонен.

Барсуков взял костыль и пошел в дежурку, натываясь в темноте на кровати. Дежурная сестра Клава сидела за столом и спокойно читала при свете керосиновой лампы.

— Клава, где Вера Ивановна? — спросил Барсуков.

— Дома, она сегодня отдыхает.

— Вот что, нужно эвакуировать тяжелых и новорожденных. Звоните-ка на пристань! — властно сказал он.

— Почему? Вы думаете... Что вы, Максим Сергеевич, у нас такая погода часто бывает. — Все же она взяла трубку, начал кричать «алло, алло», потом повесила. — Не отвечают... станция не отвечает.

Клава прикрыла лампу газетой, отдернула шторку и ахнула. Волны уже плясали среди берез, метрах в десяти от больницы. Она схватила платок и выбежала на крыльцо. Здесь она увидела, что вода окружает больницу со

всех сторон. Надсадно выл ветер, хлестал в лицо пригоршнями капель. Клава бросилась назад, схватила за руку Барсукова.

— Господи! Максим Сергеевич, что делать, миленький? Что делать?

В минуты опасности, а их было немало в его жизни, Барсуков сразу внутренне мобилизовывался. Мозг начинал работать холодно и четко, как механизм, тело становилось гибким. Он любил такие минуты. Быть может, они и есть квинтэссенция жизни.

— Вот что, — сказал он. — Нужно зажечь все лампы, какие есть. Лежачих и родильниц мы перенесем на чердак. Вейно, беги, пока не поздно, за лестницей.

На чердак можно было попасть только снаружи, приставив лестницу к крыльцу. Вслед за Хемоненом он вышел на крыльцо. Луна в этот момент спряталась. В крошечной тьме сквозь вой ветра он услышал плеск. Это шел Вейно с лестницей на плечах. «Эх, черт, все лечение на смарку!» Он шагнул с крыльца и оказался почти по пояс в воде. Холод мгновенно пронизал всю нижнюю часть тела.

— Вейно, где ты? — крикнул Барсуков гулким басом.

А в это время по ревущей, разлившейся уже на несколько километров и затопившей почти весь поселок реке мчался катер. На носу его стоял в развевающемся резиновом плаще Иван Сергеевич Сбигнев. Видимо, в каждом из нас спит до поры до времени беспшашный морской бродяга, тот, что в детстве пускал по лужам кораблики и сколачивал плоты из досок забора. Бесстрашный этот сорвиголова проснулся, очевидно, в этот час в запуганной и зябкой душе Ивана Сергеевича. Он мог бы находиться в рубке вместе с рулевым, но он стоял на носу, мокрый и поразительно возбужденный.

Катер, лавируя между затопленными березами, приближался к больнице. Матрос шарил шестом дно. «Стой!» — заорал он вдруг. До больницы было метров пятнадцать. Осветили прожектором здание, и в желтом дрожащем свете Сбигнев увидел товарища Барсукова, Максима Сергеевича, по пояс в воде, с табельщицей Манькой Крюковой на руках. «Эх!» — отчаянно крикнул Сбигнев и вдруг прыгнул в воду, захлебнулся, встал — по горло — и пошел к больнице, подгребая руками.

В полчаса погрузка больных была закончена. Тяжело

груженный катер медленно выбирался из березовой рощи. Барсуков закричал в ухо Сбигневу:

— Где Вера Ивановна, что с ней?

— У Киреевых она живет, за школой, — ответил вместо Сбигнева матрос. — Лодки у них нет, вот беда! Может, на крыше сидят, а может, утопли.

Барсуков затряс его с бешеной злобой:

— Я тебе покажу утопли! Заворачивайте!

Катер пошел к поселку по тому месту, где раньше была мощенная булыжником дорога. Зажгли прожектор. Он осветил зыбкое водное пространство. И вдруг Барсуков увидел на гребне волны взметнувшуюся руку и вслед за тем очень отчетливо белое, искаженное судорогой лицо с открытым ртом. Не помня себя, он бросился в воду.

Когда их втащили на борт, Вера Ивановна, стуча зубами, проговорила:

— Все целы? Слава богу! А я бегу, бегу... Вижу, дна нет!.. Поплыла... Ничего... У меня третий разряд по плаванию... Все равно доплыла бы...

Катер вышел на большую воду и, тяжело качаясь, пошел туда, где маячили огни судов, собравшихся к поселку по сигналу «SOS». И вновь на взметнувшемся гребне волны люди с катера увидели одинокого пловца. Это был больничный кучер Володька Никанорыч. Сейчас он сидел в своей лодочке, как бы высеченной из камня, словно вспомнил, что является потомком мужественного племени охотников и рыболовов, издавна обитавшего на этих суровых берегах. Ему закричали с катера, но он махнул рукой и налег на весла. Он шел на спасение пегого жеребчика Васьки, про которого, конечно, в сутолоке забыли.

Барсуков взглянул на Веру Ивановну, на ее мокрое лицо с горящими глазами, и ему показалось, что он понял ее сущность. Ведь она переживает сейчас минуты, которых, наверное, ждала всю жизнь. Она просто-напросто романтически настроенная девчонка. И от этого открытия у него стало весело и тепло на душе. Он обнял ее за плечи, прижал к себе, пробасил:

— Замерзла, дочка?

К утру ветер утих, вода заметно пошла на убыль. В небе повисли вертолеты, по поселку сновали всеенные машины-амфибии. Размеры бедствия оказались невелики, человеческих жертв не было, — в тех местах при каждом дворе имеется одна, а то и две лодки.

Барсуков собрался уезжать. Вечером за ним должен был прибыть катер из Ленинграда. Максим Сергеевич шел по деревянным мосткам вдоль улицы, направляясь в амбулаторию прощаться с Верой Ивановной. Поселок жил своей обычной жизнью. Страшная ночь была давно забыта. Бабы гоняли гусей, визжали на реке ребятишки, гудел паром, перевозивший людей и скотину.

Больницу пришлось закрыть на ремонт. Временно двадцать коек было развернуто в школе. Амбулаторию почистили и подкрасили сразу после наводнения. И вот Вера Ивановна снова сидит за своим столом и читает газету. Больных нет: начался покос, не до болезней. Перед ней «Вечерний Ленинград». В углу петитом: «Временное изменение трамвайного движения. К сведению граждан. В связи с ремонтом рельсовых путей маршрут № 18...» Маршрут № 18! Сколько на нем езжено-переезжено! Вот он идет по набережной Карповки, заворачивает на Петропавловскую... Здесь они ездили с Юркой, здесь же они и поругались. Окончательно! Навсегда! И он уехал в Якутию, а она — сюда... И ей уже двадцать четыре года. А через семь месяцев будет двадцать пять. И от Юрки нет писем...

Вошел Барсуков, взял газету, понимающе кивнул, взволнованно зарокотал:

— Слушайте, девочка. Сегодня я уезжаю. Поедемте со мной, а? Ну, я понимаю: молодость, романтика, мечты... Но хватит! Вам здесь не место. Я помогу вам устроиться в Ленинграде в клинике, будете заниматься наукой, как моя Ленка. Это ведь тоже очень увлекательно.

Вера Ивановна удивленно подняла брови.

— Что вы, Максим Сергеевич, как я могу сейчас уехать? Бросить все?

Она помолчала и тихо добавила, глядя ему прямо в глаза:

— А вы знаете, что до меня здесь два года не было врача? Приедет гастролер на месяц-другой — и нет его. И два года люди ходили к малограмотному фельдшеру. Разве это возможно в наше время, чтобы одних лечили кобальтовой пушкой, а других — клистиром?! Ведь эти люди своими руками... Вы сами все прекрасно понимаете. Прощайте, Максим Сергеевич.

Барсуков широко шагал по улице, зло ругал себя. Что толкнуло его на эту невольную провокацию? Желание

помочь Вере? Нет! Он знал, какой получит ответ. Нет, видно, он все же хотел его получить, чтобы наконец понять. Эта девочка не только романтическая особа. Она, как видно, твердо считает себя подвластной долгу так же, как этот карел Вейно, как и он сам, Барсуков.

1958



СЮРПРИЗЫ

Записи! Достает Л. Соколов. Герка все знает.

Что получится, если ежа женить на змее? Ответ: два метра колючей проволоки.

Ее зовут Людмила Гордон. Ого!

Современный стиль «бибоп» связан с именем головокружительного Чарльза Паркера.

Татьяна, ты роковая женщина.
А ты болван!
Сама дура.

В понедельник комсомольское. С занесением в личное,
как пить дать.

Мраморный зал. А 0-00-04.

Выпивон — Герка, закуску принесут девочки. Музыка
притащат медики, дух взаимопонимания внесу я.

Мне тошно.

Констебль и Тернер похожи на импрессионистов, а
жили гораздо раньше.

Художники хорошие у англичан, мощные писатели,
а композиторы? Не знаю ни одного. Узнать!

Блок писал, что для того, чтобы понимать лирику, надо
самому быть «немного в этом роде».

Позвонить Соколову насчет записей.

Кирилл, смотаемся в перерыве?

?

На «Плату за страх»?

!

Михаил лежал с ногами на диване и читал свою старую записную книжку, которая неожиданно обнаружилась в ящике письменного стола. Кажется, мама за эти три года не притрагивалась к его бумагам. Михаил шевелил пальцами босых ног и улыбался. Веселое было время. И когда все вместе, и с девушкой, и грусть даже была веселой. Идешь один, тошно тебе, тучи гроздятся на горизонте, и вдруг струя какого-то особенного ветра или запах мокрых листьев на бульваре — и тебе хочется рвануться и побежать-побежать-побежать... И бежишь как бешеный (хорошо, что еще не зажгли фонарей), заскакиваешь в телефонную будку, вынимаешь вот эту записную

книжку и, услышав чей-то голос, начинаешь басом читать стихи, а сам смотришь стеклянным взглядом за черный контур Ленинграда и, холодея, чувствуешь, что там море. Сейчас все как-то иначе. Время прошло, прошла юность. Сейчас идет молодость. Зрелая молодость, хе-хе-хе. И вот спустя три года ты садишься к своему старому письменному столу и находишь в нем все так, как было. Стол стоит словно памятник твоему прошлому. Не рано ли тебе воздвигать памятники? Но все-таки это очень приятно, что здесь все так, как было. Это очень чутко со стороны мамы.

Михаил отложил записную книжку и обвел глазами комнату. В зеркале, висящем на прежнем месте, отражались голые ступни и раскрытый чемодан. Михаил прилетел в Ленинград несколько часов назад. В ушах его еще стоял грохот и свист невероятной дороги. Самолет Певек—Магадан, самолет Магадан—Хабаровск, самолет Хабаровск—Москва, самолет Москва—Ленинград. Двадцать четыре часа грохота и свиста! Неистовая техника двадцатого века проволокла его через весь континент и сбросила на старый диван, который равнодушно и радушно принял в свое лоно хозяина, маменькина сынка Мишу, стильного малого Майкла, двадцать пятый номер факультетской баскетбольной команды. Словно и не было этих трех лет. Откуда может знать старая рухлядь про эти три года? Старая, дореволюционная, выцветшая, пообтрепанная рухлядь? Давно пора все это выбросить отсюда и заменить современной мебелью. Старые друзья, свидетели нашей жизни! Милые добрые памятники юности!

Зазвонил телефон. Чутко со стороны мамы, что даже телефон она оставила здесь. Когда-то Михаил потребовал, чтобы телефон из бывшего кабинета отца был перенесен к нему в комнату. Он объяснил, что телефон необходим ему для «творческих консультаций». Тогда они вдвоем с Кириллом писали киносценарий. И это действительно было очень удобно: не вставая с дивана, он мог трепаться с Кириллом, и с Людкой Гордон, и со всем городом, с кем угодно.

— Алло!

— Старик! — завизжал в трубку Кирилл.

— Это ты, старик? — изумленно спросил Михаил.

— Конечно, старик, это я.

— Боже мой, это ты!

— Ну да, старик.

— Это ты, старик, черт тебя подери!

— Ты не помешался, старик, после перелета? — заботливо спросил Кирилл своим удивительным ребячьим голосом.

— Прости, старик, последнее письмо я получил от тебя с Урала, поэтому я и был поражен сейчас.

— Последнее письмо! — засмеялся Кирилл. — Это было больше года назад, и ты, конечно, не ответил.

— Я ответил. Месяца через три. Ночевали в Усть-Майе, и я настрочил тебе целое послание, шедевр эпистолярного жанра.

— Хорош ответ! Я получил его через полгода в Питере. Ребята с Урала переслали мне его сюда.

— Какого же черта ты не отвечал?

— Как раз собирался ответить, старик.

Они захохотали. Михаил легко представил, как трясется от смеха его толстый друг, обжора и выдумщик. Наконец Кирилл собрался с силами.

— Слушай, старик. Мне вчера Антонина Сергеевна сообщила, что ты везешь свои кости обратно, и я уже все обдумал.

— Ты уже все обдумал! — восхитился Михаил.

— Все до мелочей. Собираемся у меня в восемь. Постараюсь, чтобы были все старики, все, кто сейчас в городе. Есть кое-какие сюрпризики для тебя.

— Выкладывай сейчас.

Кирилл немного помолчал.

— Сам увидишь. Итак, сэр, без церемоний, просто в смокинге, ровно в восемь. Тряхнем стариной, а?

После Кирилла позвонил Глеб Поморин. Оказалось, что он уже знает о сборище у Кирилла.

— Я к тебе сейчас приеду, и пойдём вместе, — предложил Михаил.

— Ладно, приезжай. Только я теперь не там живу.

— Где же?

— Ты помнишь адрес Татьяны?

— Танькин дом? Еще бы не помнить. Что? Ты теперь там живешь? Давно? Два года уже? Сын уже у вас? Черт бы вас побрал, старики!

Михаил повесил трубку и стал надевать ботинки. Он испытывал странное чувство, похожее на ревность, хотя никогда не ухаживал за Танькой и никогда... Нет, одна-

жды на вечеринке он попытался ее обнять, но это было просто так. Ему тогда казалось, что все девчонки в него влюблены. Получил по щеке. Очень был расстроен, а через пять минут целовался с Людой на балконе. А Кирилл стрелял в них из водяного пистолета. В тот вечер все словно с ума посходили. Надо будет отыскать Люду, но это потом.

Михаил оделся очень тщательно (пусть не думают, что на Севере одичал), поговорил с мамой (Ну, конечно, мамочка, до развода мостов обязательно. Правда, я повзрослел и поуменел. Да-да, завтра собирай всех родственников, отдаюсь на растерзание), вышел на улицу, посмотрел, как разъезжаются такси со стоянки, вдохнул всей грудью ленинградский воздух (о да, это ленинградский воздух!) и пошел по проспекту.

«Я люблю этот город, — подумал он, — и пойду по нему пешком».

Идти было как-то странно, он не понимал отчего, а потом догадался: руки не заняты ничем. Он уже отвык ходить со свободными от ноши руками. Он долго шел, пока не вышел на набережную канала, где высился серый Танин дом. Пошел к дому, с удовольствием стуча каблуками по старым каменным плитам, и тут увидел Таню. Она шествовала навстречу и катила перед собой детскую коляску. В коляске стоял и смотрел вперед, как капитан, маленький Поморин. Таня, как и раньше, была очень модно одета. Михаил остановился. Татьяна равнодушно прошла мимо.

— Здорово, мать, — сказал он.

Она вздрогнула и обернулась.

— Мишка!

И бросилась целоваться.

«А раньше-то не разрешала дотронуться», — подумал он, целуя ее.

— Познакомь с Глебовичем, — попросил он.

— Ваня, это дядя Миша, — сказала Таня.

— У-у, — грозно сказал малыш.

— Это он тебя пугает. Он всех незнакомых сначала пугает.

Михаил протянул малышу шоколадку.

— Ты с ума сошел! — закричала Таня. — У него всего три зуба, а ты ему шоколад. — Она посмотрела на этикетку. — Съем сама.

Они сели на гранитную скамейку. Стали есть шоколад и болтать.

— Ну, как живешь?

— Как тебе сказать? Как все.

— А Глеб?

— Учится на заочном, на следующий год кончает. Ты его не узнаешь. Он такой стал... не такой, как был. Еле уговорила его уйти из рабочего общежития. Вот видишь, ты даже не знаешь, что он там жил. Только когда я, — она нарисовала пальцем в воздухе, — только тогда он переехал к нам. Тесно, из-за этого и ругаемся, наверное, — закончила она задумчиво, глядя в сторону.

— Танька, а разве вы с Глебом раньше?

— Да. Он мне писал стихи.

— Кто тебе не писал стихов? Я тоже писал.

— Ты только издевался надо мной. И в стихах тоже. Ведь у тебя же не было ко мне ничего серьезного. Правда, Мишка? Нет, ты скажи прямо.

— Конечно, не было, — сказал Михаил.

Появился здоровенный неузнаваемый Глеб. Минуты две Глеб и Михаил хлопали друг друга по спинам и мычали нечленораздельное. Потом вышла Танина мама и увезла Ваню. Малыш помахал Михаилу ручкой. Супруги Поморины покосились на Михаила. Тот изобразил восторг. Он знал, что маленькими надо восторгаться.

— Ты все-таки надел этот галстук? — ядовито спросила Тая у мужа.

— Да, я надел этот, — твердо ответил Глеб и посмотрел на нее.

Второй сюрприз сразил Михаила. Это была Людмила Гордон в очень широкой блузке, которая, однако, уже ничего не могла скрыть. Люда открыла им дверь Кирилловой квартиры и, увидев Михаила, сразу же покраснела. Поморины прошли вперед, а Люда и Михаил с минуту молча смотрели друг на друга, оба красные. Потом Михаил подошел к ней и поцеловал в щеку.

— Видишь, какой я стала уродиной, — сказала Люда.

— Чудачка, что может быть прекраснее этого? Ты лучше скажи, кого мне надо было в свое время пристрелить на дуэли?

— Его, — Люда качнула головой в глубину квартиры, где слышался ослепительный тенорок Кирилла.

«Так, — подумал Михаил, — значит, он неспроста стрелял тогда в нас из водяного пистолета».

Пышущий, сверкающий, сверху напомаженный, снизу лакированный Кирилл влетел в прихожую словно шаровая молния. Он сразу кинулся на Михаила и смял его дружеским напором. Он сразу смял какую-то гадость, которая стала подыматься в Михаиле.

— Ну, как ты находишь мою уродину? — закричал он, широким жестом демонстрируя Люду. Но когда они пропустили Люду вперед и пошли за ней в комнаты, Кирилл надавил Михаилу на плечо и прошептал: — Старик.

Словно плеснуло чем-то влажным и широким (то ли музыка, то ли водопад), когда Михаил вошел в комнату и все уставились на него. Друзья, приятели, девочки, черти полосатые. Пережились и ждут детей. И всем он дорог. Все пришли сюда из-за него. Нужно будет следить за собой, а то еще разревусь. В комнате было человек двадцать, не меньше. Друзья филфаковцы, художники, Ласло Ковач почему-то здесь оказался, а из медиков только Сашка Зеленин, а вот и «просто девочки» — Сима, Клара, а эта... Как же ее зовут?.. Помню только, что познакомилась с ней в Одессе, она ныряла с аквалангом.

Все окружили Михаила и стали с ним целоваться. Его целовали и лупили, хватали за костюм (Какие ткани, ребята! Мишка-золотишник приехал!). Кто-то совал рюмку. Михаил опомнился, когда поцеловал совершенно незнакомую девушку.

— А это, между прочим, моя жена Инна, — растерянно сказал Сашка Зеленин.

— Что ты говоришь! И тем не менее! — закричал Михаил, оттолкнул локтем Сашку и еще раз поцеловал его жену. Кругом загрохотали. Сомнений не было — приехал тот самый Мишка, которого все помнили и любили.

Сначала все пошло по-старому. Кто-то танцевал. Кокнули пару пластинок. Изнемогая, острил Кирилл. Борька, как всегда, сразу «накерялся», и аквалангистка вывела его на балкон.

«Ясно, они муж и жена», — с некоторым раздражением подумал Михаил, снял пиджак и сделал стойку на руках, а потом обратное сальто. Он сделал это для того, чтобы показать, что он тот же самый, кого все знают и любят,

молодой, свободный, неженатый... Но почему-то ему стало после этого неловко. Он надел пиджак и отыскал взглядом Сашину жену Инну. Та улыбнулась ему так, как улыбаются детям.

И только за столом стало выясняться, что вечер не получился. То есть это был оживленный, веселый вечер, много музыки, много вина, острооты сыпались и новые анекдоты, и уже зашумело в голове, но — это был не тот вечер. И в промежутках между общим смехом Михаил слышал со всех сторон разное.

Люда: А где ее достанешь, хорошую? Нет, Миша, извини, мне нельзя ни капли.

Таня: Подождала бы ты полгода, я бы тебе отдала Ванькину коляску.

Зеленин: Мы сейчас работаем с аппаратом «сердце—легкие».

Аквалангистка (тихо): Постыдился бы, вести себя не умеешь. Посмей только. (Громко.) Клара, вы все-таки решили купить эту финскую спальню?

Кирилл: Книжка выходит в начале следующего года. Обещают приличный тираж.

А Глеб почему-то сидит чужаком и рассеянно слушает Сашку.

— Глеб! — крикнул ему Михаил. — Твое здоровье! — И приподнял рюмку. Глеб улыбнулся застенчивой и рассеянной улыбкой — прежний Глеб.

— Почитаешь что-нибудь новое? — спросил Михаил. Глеб покачал головой так, что можно было больше не упрашивать. Это было выше понимания: раньше после трех рюмок Глеба нельзя было удержать — читал и читал.

— Туго было на Севере, Миша? — спросил Сашка Зеленин.

«Вот кого я люблю, — подумал Михаил, — его и всех тех медиков».

— Тише, друзья! — крикнул Кирилл. — Сейчас нам Мишка будет рассказывать о Севере. Расскажи нам, Миша, про медвежье мясо, про торосы, про самородки, про бандитов и про чистый спирт.

Все зашумели.

— Расскажи нам про мясо!

«Спешу и падаю», — подумал Михаил и сказал басом:

— Мясо. Дайте мне колбасы.

Наш, наш прежний, добрый, старый Мишка.

— Спирт. Налейте мне коньяку.

Тот, тот самый, молодой, веселый, неженатый...

Вечер не получился. После ужина это стало особенно ясно. Общество разбилось на кучки, и везде разговаривали о диссертациях, или о книгах, или о картинах, о финской мебели, об уходе за новорожденными и о жилищной проблеме. А когда подходил Михаил, разговор прерывался и говорили:

— Майкл, расскажи нам о мясе.

— О золоте.

— О торосах.

— О бандитах.

— О спирте.

И заранее смеялись. А потом все вроде пошло хорошо. Кирилл сел к пианино, пели «Через тумбу» и «Чаттанугу», «Наши зубы остры», «Шар голубой», «Безобразия».

— Пойдем, старик, потолкуем, — сказал Кирилл и повел Михаила на балкон.

Черный контур города на фоне бледно-зеленого неба напоминал горную цепь. А огоньки окон там словно горные аулы. Внизу, прямо под балконом, дико заскрежетал трамвай. Он шел с островов и был полон молодежи.

«О трамвай! Я люблю тебя за то, что у тебя нет пневматических дверей. Таких, как ты, мало осталось».

— Тебе немного не по себе, — сказал Кирилл, — я вижу. Как ни говори, а оторвался ты от всего этого. Правда?

«Ты везешь мою любовь, старая колымага. Тащишь ее с островов, откуда уходят яхты, где байдарки уложены на берегу словно сигары, где шумит асфальтированный лес, где урчит и рывкает стадион, тащишь через весь город мимо темных домов, каждый из которых словно целая поэма, тянешь ее над Невой, малыш, такой самоуверенный и гордый, будто не можешь свалиться в воду, и бочком вокруг центра тащишь ее все дальше, в дымную и шумную страну окраин».

— Пора, старик, нам перемениться. Все это прекрасно, наша юность. Приятно вспомнить прошлое, но ведь нам уже двадцать шесть лет...

«Ты деловой и рассеянный — вон ты что-то рассыпал. Кучу серебра и фосфора. Или это ты приветствуешь меня на прощанье? Ты такой, такой, такой... Я могу заплакать из-за тебя, носильщик моей любви, потому что

не видел тебя три года, потому что я вынил лишнего сегодня».

— ...да-да, старик, начинается наше время. Мы в таком возрасте, когда надо выходить на активные позиции жизни. И сейчас особенно важна дружеская спайка.

— Это верно, — пробормотал Михаил. — Что верно, то верно.

Трамвай скрылся за углом. Уже появился со стороны островов новый, но это был другой трамвай. До Михаила дошло.

— Слушай, старик, — воскликнул он, — ты здорово сказал! Ты сформулировал то, о чем я последнее время думаю.

Кирилл довольно усмехнулся.

— Мы с тобой всегда находили общий язык.

— Вот именно, возраст такой, — продолжал Михаил. — Я словно подхожу к какому-то барьеру. Перемахнешь его — и все изменится, и сам станешь другим.

— Неужели ты еще не перемахнул барьер? Подумай, может быть, уже?

— Не знаю. Вряд ли, — задумчиво сказал Михаил. Ему доставлял большое удовольствие этот разговор. Он любил серьезные и не совсем отчетливые беседы.

Кирилл обнял Михаила за плечи.

— Дружище, я ведь на год раньше тебя вернулся и сейчас, кажется, крепко встал на ноги. Книжка очерков скоро выходит. Везде меня уже знают. Думаю, что скоро попаду в штат... (он назвал крупную газету). Тебе теперь легче будет. И ничего тут нет такого. Это закон дружбы. Ух ты, Мишка, — задохнулся он от радостного возбуждения, — мы с тобой теперь развернемся. Можно тот сценарий наш двинуть. Как ты думаешь?

— Можно, конечно. Почему бы нет, — пробормотал Михаил.

Он не мог даже представить себе, что снова сядет за тот сценарий.

Весь длинный путь до дома он прошел пешком.

«Почему я не сказал Кириллу, что собираюсь вернуться туда? — думал он. — Ведь мы всегда были откровенны друг с другом. Люда пришла на балкон, поэтому я и не сказал. Эх... если бы я написал ей хоть одно письмо с Се-

вера, может быть, все было бы иначе. Глупости, ничего не могло быть иначе. Раз что-то произошло, значит, иначе и не могло быть. Герка стал бандитом и сидит в тюрьме, а Глеб — передовик производства, студент-заочник и Танин муж... Сашка Зеленин — ученый-хирург. Разве могло быть иначе? Кирилл — журналист, очеркист, оптимист и муж Люды. Все изменилось, и дело вовсе не в должностях. А я? Что со мной стало? Перешагнул ли я через барьер?»

Он пришел домой, открыл дверь своим ключом и, сняв ботинки, бесшумно, как кошка...

— Мишенька, что ты там уронил? — крикнула мама.

...прошел к себе. Повалился на диван. Раскрытый чемодан так и стоял возле дивана. Старая записная книжка лежала на столе. Михаил сунул руку в чемодан и вытащил блокнот, исписанный от корки до корки там, на Севере.

Сопки без конца. С самолета все это выглядит как бесчисленное стадо верблюдов.

Ни дня без строчки. Стендаль.

Маркшейдер Иванов, обогатители Петров, Сидоров, экскаваторщик Бурокобылин взяли на себя обязательства...

В обстановке огромного трудового подъема горняки прииска «Золотистый»...

Я называю героями не тех, кто велик мыслью или силой, но только тех, кто велик сердцем.

...Где нет великого характера, там нет великого человека, там только идола, изваянные для низкой толпы. Ромен Роллан.

Сколько можно заседать, Женька? Терпенье лопается.

Не устраивай истерики. Лучше выступи сам и дай им жизни.

А что! Сейчас выступлю. (Половина листочка оторвана.)

Может ли вегетарианец полюбить женщину? Ответ: может, если женщина ни рыба ни мясо.

Отвечая на благородный почин тружеников Индигирского управления, коллектив прииска «Буранный»... Я лопну от злости из-за этого языка. А напишешь иначе о том же — режут!

Я никогда не вел дневника и никогда не буду вести. Это первая и последняя запись, что бы там ни было. Почему меня сейчас потянуло к карандашу? Потому что я еще жив, черт побери! Игоря уже не потянет к карандашу. Да его, собственно, и никогда к нему не тянуло. Его тянуло к спирту и к знаменитой красавице «Машке с бензоколонки». Интересно, подумал ли он о ней в последний момент? Боже мой, я никогда этого не забуду! Да разве сможет кто-нибудь из тех, кто выберется отсюда, забыть это? Раз в Ленинграде мы зажгли свечи и стали трепаться о том, кто какой выбрал бы способ переселения в мир иной. Я сказал «авиационная катастрофа», и все со мной согласились. Потому что это захватывающе! Дурачье! Что мы знали об авиационных катастрофах? Но я видел это, видел — и пока еще жив, вот ведь удача!

Я сидел рядом с Игорем. Мы словно висели в вате. Ребятам в фюзеляже было наплевать на туман. Они слышали шум моторов и знали, что машину ведет Игорь. Валялись на мешках. Кто спал, а кто трепался. Не знаю, случилось ли что с приборами или что-то случилось с Игорем, но вдруг прямо по носу появилось и мирно надвинулось на нас что-то серое и огромное. Я увидел рот Игоря и его бешеные глаза. Он притянул меня вплотную и проорал: «Влопались! Беги в хвост, Мишка!» — и вышвырнул из рубки. Когда я покатился по мешкам, ребята чертыхались. Самолет чуть ли не встал на попа. Мы все кучей ворочались в хвосте, и я видел только чей-то вылупленный глаз и рот с пломбированным зубом. В последний момент соседа вырвало прямо мне в лицо.

Игорь сделал все, что мог, но он уже ничего не мог сделать. Теперь, когда остатки проклятого тумана словно клочки шерсти висят кое-где на вершинах сопок, я вижу, куда мы тогда попали. Мы прошли по коридору прямо в котел. Как это случилось? Друг Игорь, спи спокойно — следовательно теперь до тебя не добраться.

Мы все переломали кости, и нас разбросало по склону. У меня, кажется, сломана только нога. К утру сползлось к обломкам самолета восемь человек. Потом мы с Костей

приволокли Сидорова и грузина, не знаю, как его зовут. Кажется, он уже готов. Нет, пошевелился. Сколько народу погибло сразу, я до сих пор не знаю. Видел только Игоря и радиста. Ну, а мы, оставшиеся? Мы съели почти все, что у нас было. Связи нет. Жечь уже нечего. Лежим кучей в шалаше из обломков самолета. Четвертый день. А солнце как горит над этой белой страной! Нет, я не проклинаю эту страну. Я люблю ее, хоть... она и переломала мне кости.

Все-таки я что-то делал здесь, я, Мишка-корреспондент, известный всем шоферам колымской трассы. Я видел здесь настоящих людей и писал о них дубовым языком дубовые заметки, но все-таки писал о них. И если я останусь жив, я буду писать о них, но не так, как раньше. А если нет? Сейчас я буду писать, пока не подохну. А летом, когда эта сопка зарастет брусникой... Нет, мы будем живы, ребята! Сейчас я всех вас растолкаю и покажу — смотрите, там, по руслу замерзшего ручья, бегут две собачьи упряжки.

Костя стреляет в воздух.

Это орочи, я узнаю их по одежде...



КАТАПУЛЬТА

1

Я впервые видел Скачкова таким элегантным. Все на нем было прекрасно сшито и подогнано в самый раз, а выглядел довольно странно. На мне были засаленные измятые штаны и зеленая рубашка, которую я каким-то образом купил в комиссионке. Думал, черт те что покупаю, а оказалось — самая обыкновенная зеленая рубашка. Итак, грязные штаны и зеленая рубашка. В таком виде я возвращался из экспедиции.

Поездка на теплоходе по этой тихой северной реке доставляла нам обоим большое удовольствие. Мы прогуливались по палубе от носа к корме и обратно по другому борту, приятно было.

Одного я только побаивался — как бы нам не вломили

по первое число. Прогуливаясь по палубе, я прикидывал, кто из пассажиров мог бы нам вломить. Скорее всего это могли сделать летчики — двое с желтыми погонами (летний состав) и один техник-лейтенант. Да, это будут они.

Я оглянулся — летчики удалялись, помахивая фотоаппаратами. Я посмотрел на Скачкова. Кажется, он и не думал об этом. Он был невозмутим и спокойно рассказывал мне, а вернее — самому себе, о своих творческих планах.

С него хватит. Это мне все эти церквушки в диковинку, а ему они — вот так! По своей натуре он не научный работник, а скорее художник. Конечно, древнее зодчество, фрески, прясницы, мудрая простота, тра-та-та... Это много дает поначалу, но он не может все время исследовать, он должен создавать. Ведь он художник, и неплохой, скорее первоклассный.

— В Питере покажу тебе свою графику. Это что-то необычайное, — сказал он, улыбаясь.

Мне нравился Скачков. Я понимал, что он над собой издевается. Есть такие люди, что постоянно играют сами с собой. Казалось, что для Скачкова его собственная персона — только объект для наблюдений. Казалось, что все его улыбочки и ухмылки относятся к нему самому и имеют совершенно определенное словесное выражение: «спошил», «ну и тип», «разнюнился», «вот дает» и т. д. Скачков был спокоен и ироничен. Я чувствовал, что это философ. Честно говоря, я немного восхищался им и думал, что в дальнейшем буду таким, как он. Прямо скажу — я совершенно серьезно относился к своей зеленой рубашке. Скачков был старше меня на шесть лет. Мне было двадцать четыре года, а ему тридцать.

Мы познакомились с ним в экспедиции. Он учил меня ловить щук на спиннинг.

— Это же так просто, — говорил он. — Смотри! Бросаешь блесну, — следовал размах и мастерский бросок, — подождешь немного и накручиваешь.

Мне нравилась эта охота, интересно было смотреть, как меж колеблющихся подводных стеблей появлялась серебристая блесна, а за ней с грузной стремительностью летела щука. Потом Скачков делал какое-то движение, и щука уже билась в воздухе словно повешенная.

У меня не получалось. Мне казалось, что размахиваюсь я не хуже Скачкова и накручиваю я точно как он, но, видно, все-таки я делал что-то не так. Я вообще «не-

умека», как называли меня в детстве. Я думал, что навсегда погиб в глазах Скачкова, потому что мы каждый вечер охотились на щук и я за все время не поймал ни одной. Наши лодки стояли в камышах, а над озером на холме чернела церковь, построенная без единого гвоздя, а у подножия холма в тихой заводи стоял наш катер. Катер с мягкими сиденьями и эта церковь. Термосы и костер. Щуки и спиннинг. Мне казалось, что я смог бы построить такую церковь, но разобраться в моторе катера было мне не под силу.

Скачков посмотрел на свое отражение в стекле ресторана, одернул пиджак и усмехнулся.

«Ишь ты, обарахлился», — казалась, говорила его усмешка.

Стекла ресторана полукругом выходили на нос теплохода. Я увидел там внутри Зину. Она сервировала столы к обеду. Я подмигнул ей. Она как-то смущенно улыбнулась и зиркнула в другую сторону. С другой стороны стеклянного полукруга в ресторан смотрели летчики — летный состав и техник-лейтенант. Мы пошли и столкнулись с ними на самом носу.

— Осторожней надо ходить, — сказал старший по званию, капитан.

— Виноват, — рассеянно произнес Скачков, и мы разошлись с летчиками.

Я посмотрел теперь на Зину с другой стороны, с правого борта. Она шла с подносом между столиков, нарочно глядя прямо перед собой, не обращая внимания ни на нас, ни на летчиков. Она была черненькая, маленькая, вся какая-то обточенная, словно шахматная фигура. Я представил, как стучат там, за стеклом, ее каблучки и как тихо позванивают пустые фужеры на ее подносе. Она такая и есть — четкий стук и тихий звон.

Да — нет, есть — нет, вот счет — спасибо, уберите руки — это четкий стук.

А что в ней тихо звенит, я не знал. Такое сразу не увидишь.

— Хорошая девчонка, — сказал Скачков. — Женись на ней.

Я даже вздрогнул от неожиданности.

— Да ты что?!

— А что? Лучшие жены получаются из таких.

— Из каких это таких? — спросил я.

Скачков посмотрел мне в лицо и усмехнулся.

— Из таких маленьких и четких.

Ее четкость, понял я, для него не секрет, но знает ли он про звон?

На корме мы снова увидели летчиков. Двое из них стояли обнявшись на фоне флага Северо-Западного речного пароходства, а третий наводил на резкость фотоаппарат. Мы остановились. Капитан опустил камеру и пробурчал:

— Ну, проходите.

— Делайте ваш снимок, — приятно улыбаясь, сказал Скачков.

Он щелкнул, мы прошли.

— Эй, зеленая рубашка! — позвали меня.

Старший лейтенант протягивал мне камеру со словами:

— Не можешь ли ты, друг, щелкнуть нас втроем?

Чуть поспешней, чем надо это было сделать, я взял аппарат. Я увидел в видоискателе их всех троих. Теперь у меня была возможность рассмотреть их лица.

Капитан был в возрасте Скачкова. Он хмурился, как бы давая мне понять: «Снимаешь? Снимай! Твое дело — только нажать затвор, и все. И можешь идти. Раз-два!»

Старлей был помоложе его года на три. У него было лицо из тех, что называют «открытыми». Он щурил хитроватые глазки и, видимо, был очень доволен тем, как ловко он приспособил меня для этого дела.

Техник-лейтенант был, наверное, моим ровесником. Он думал только о том, как он получится, и весь одеревенел под объективом.

— Внимание, — сказал я.

Летчики приосанились. Эти славные ребята понимали значение фотографии.

— Пятки вместе, носки врозь, — тихо сказал за моей спиной Скачков. — Грудь вперед, живот втяни.

Кажется, капитан расслышал. Я сделал снимок и отдал ему камеру. Мы со Скачковым снова пошли к носу теплохода и остановились, облокотившись о борт, возле ресторана.

Зина сидела, положив подбородок на кулачок, и смотрела вдаль, на реку, залитую солнцем, и тихие лесистые берега. Другая официантка сидела рядом, что-то быстро говорила ей и смеялась. Но Зина будто ее не слушала,

она смотрела вдаль, нет, не то чтобы мечтала, а просто смотрела на реку, а не на свою товарку и не на сервировку.

«Вот сейчас в ней и идет этот тихий звон», — подумал я и спросил Скачкова:

— А ты бы женился на ней?

Прежде чем ответить, Скачков посмотрел на реку и на Зину.

— Сейчас женился бы не раздумывая, но тогда не женился бы.

— Когда?

— Когда я женился на своей жене.

Вторая официантка что-то сказала Зине на ухо, хотя в зале никого не было, и та вдруг резко, вульгарно рассмеялась. И оттого, что звука не было слышно, впечатление от ее распахнутого рта с мостом и коронкой на верхней челюсти было особенно неприятным.

Я беспомощно посмотрел на Скачкова. Как мы будем выходить из этого положения? Ведь наговорили черт знает что.

Скачков смотрел на хохочущую официантку, потом сам засмеялся и посмотрел на меня. Я понял, что чуть было не сел в лужу, точнее, сижу уже в ней по горло, а он опять на высоте. Ведь он снова блефовал, вел свой обычный розыгрыш то ли самого себя, то ли меня, а скорее всего и себя, и меня, и всего вокруг. А я чуть было не рассказал ему про выдуманный мной «тихий звон».

2

Река текла нам навстречу совершенно неизменная, такая же, как триста лет назад, если не обращать внимания на бакены. Длинные отмели, частокол леса или свисающие к воде ивы, редкие хмурые избенки, женщина с коромыслом на мостках, и вдруг за поворотом все изменилось. Здесь было водохранилище и шлюзы, гидростанция и маленький городок при ней. Мы стали чалиться.

За пристанью был маленький базарчик. Торговали застарелой редиской, огурцами и ягодами. Мы купили клубники. Кулечки были свернуты из листков школьной тетради в косую клетку. Я различал слова, написанные фиолетовыми чернилами: «Этапы развития капитализма в Европе. 1) Борьба феодалов с горожанами».

Скачков развернул свой кулечек и хохотнул:

— Вот они, приметы нового, так сказать.

После «борьбы феодалов с горожанами» ничего нельзя было разобрать, все расплылось. Чернила смешались с кроваво-красным клубничным соком.

Мы увидели, что неподалеку с какого-то старого причала прыгают в воду пассажиры нашего теплохода. На краю причала в красном купальничке стояла Зина, похожая на статуэтку.

— Пошли выкупаемся, — сказал Скачков.

Рядом с Зиной готовились к прыжку в воду летчики. Они были мускулисты и неплохо сложены, но их сильно портили длинные синие трусы. Я ни за что не остался бы в таких трусах. Плавки на мне были что надо, а на Скачкове — вообще блеск.

Летчики стали прыгать в воду, вернее — падать в нее. Они прыгали «солдатиком», ногами вниз, очень неумело и смешно. Вынырнув, они поплыли грубыми саженками, а то и «по-собачьи», отфыркиваясь и счастливо смеясь.

— Зиночка, прыгайте! — крикнул капитан, и они все уставились на причал.

Зина жеманно заерзала.

— Ой, боюсь! Какая вода?

— Мо-о-окрая! — закричал техник-лейтенант.

Скачков, расправляя плечи и поигрывая отличными мускулами, направился к краю причала. Он прыгнул не вниз, а вверх, вытянулся в воздухе, как струна, потом сложился комочком и, вытянув руки над самой водой, вошел в нее без брызг.

— О-о-ой! — восхищенно воскликнула Зина. Она подалась вперед и сияющими глазами следила за Скачковым, а я смотрел на нее. Она была тоненькая-тоненькая, а грудь — с ума сойти, и ручки, и ножки...

А Скачков внизу выдавал стили — и брасс, и кроль, и баттерфляй.

— Сколько вам лет, Зина? — спросил я.

— Все мои, — машинально отпарировала она, но вдруг медленно повернулась ко мне и спросила: — А что?

— Знаете, кто вы? — сказал я. — Вы — четкий стук и тихий звон.

— Оставьте ваши шуточки при себе, — быстро сказала она и стала смотреть в воду, но вдруг опять повернулась

и заглянула мне в глаза. — Что это? Я не понимаю... Тихий звон...

Голос ее звучал робко, и вся она в этот момент была неуверенность, и робость, и трепет молодого клейкого листочка.

— Ну, что же ты? Прыгай! — закричал из воды Скачков.

Я прокашлялся и засмеялся.

— Будильник, — сказал я. — Четкий стук — тик-так, тик-так, и тихий звон — тр-р-р... Будильник с испорченным звонком.

Она захохотала, как тогда, резко и вульгарно.

— Ну и комик! — сказала она и очень по-бабьи, по-деревенски, спрыгнула в воду.

Я прыгнул за ней. Прыгнул не с таким блеском, как Скачков, но все-таки достаточно спортивно.

3

За обедом Скачков, виновато улыбаясь, сказал, что считает себя самым что ни на есть идиотским фанфароном и сопляком. Зачем ему понадобилось демонстрировать перед летчиками свое превосходство в прыжках в воду, показывать свой высокий класс? Все это очень глупо, но...

— Понимаешь, когда я раздеваюсь и если к тому же на мне хороший загар, я сразу становлюсь шестнадцатилетним пацаном. Просто чувствую каждую мышцу и весь свой сильный организм.

— Кончай рефлексировать, — с некоторым раздражением сказал я, — ты просто сделал хороший прыжок, и все. Летчики уже давно забыли про все прыжки на свете. Вон, посмотри, как обедают.

Летчики обедали шумно и напористо. Весь стол у них был заставлен бутылками пива и «столичной».

Мы выпили по второй. Зина принесла суп. Мы съели суп и выпили по третьей.

— Ты знаешь, что у меня два года назад была выставка? — вдруг спросил Скачков.

— Нет, не слышал.

Он горько усмехнулся.

— Никто об этом не слышал, потому что выставка не представляла интереса.

— Да? — сказал я, глядя в окно.

Собственно говоря, я почти не знал его, талантлив он или нет, и для меня вовсе не было ошеломляющим открытием то, что его выставка не представляла интереса.

— Я тебе все сейчас расскажу, — возбужденно сказал Скачков. Я его еще не видел таким. — Пейзажики. Я выставил свои пейзажи — акварели и масло. Я не люблю свои пейзажи. Я люблю свою графику, но ее-то я не выставил. Потому что выставку организовал один кит из академии, а ему не по душе была моя графика. Потому что он сам пейзажист, и я, значит, представлялся почтеннейшей публике как один из его старательных учеников. Потому что пейзажики у меня были кисло-сладкие, добропорядочный импрессионизм, и вашим и нашим, а графика его раздражала. Потому что в ней я был самим собой, а это его не устраивало. Не надо дразнить быков, говорил он, наверное имея в виду самого себя как одного из быков. Давай выпьем еще. Зиночка, мы хотим еще. Я мог все-таки выставить графику, поставить его перед фактом. Кое-кто советовал мне сделать это. Можно было даже протащить через комиссию. Если бы я это сделал, ты бы знал, что у меня два года назад была выставка. Но я не сделал этого. Ну, давай выпьем. Будь здоров! Я не хотел рисковать, решил дожждаться лучших времен. Решил не дразнить быков. Решил, что не стоит рисковать с первой выставкой. А потом плюнул на все и ушел в институт, изучаю древнерусское зодчество. Давай еще по одной?

— Может, хватит тебе? Выставишь еще свою графику.

— Будь здоров! Может, выставлю, а может, и нет. Ну, если не выставлю, то что? Что произойдет? Ничего особенного. Каждому — свое. Правильно?

Последний вопрос был обращен к летчикам.

Те уже съели второе и теперь курили, попивая водку и пиво. Старлей что-то рассказывал, они смеялись и не слышали Скачкова. Он налил себе рюмку и встал.

— Пойду поговорю с ними за жисть-жистянку. Они всё знают. Ты ни черта не знаешь и не можешь пролить бальзам на мои раны, а они всё знают и прольют.

— Сядь, Скачков. Не лезь к летчикам.

Но он направился к ним, высокий, коротко остриженный, в сером пиджаке с двумя разрезами. Он подошел к ним и что-то сказал, они потеснились, и он сел, положив

руку на спинку капитанского стула. Неужели он начнет им сейчас рассказывать про свою графику?

Тут включился в работу радиоузел теплохода и заиграла музыка из «Оперы нищих». Я сидел и думал, что лирикам моего типа легче жить. У нас все неясно: грусть и недовольство собой, а стоит увидеть девушку или радиоузел начнет работу — и все меняется. Мы похожи на радиоприемники с плохой комнатной антенной: много разных звуков и много помех, ничего не поймешь. А стоит ли выводить антенну наружу, да еще делать ее направленной? Куда направлять ведь неизвестно, и пусть так будет, все лучше, чем психология Скачкова, с которой жить, должно быть, почти невозможно.

— Дайте счет, Зина.

Она вынула из кармана блокнот и стала считать. Она стояла совсем близко, точеное, как шахматная фигура, существо в черной юбке и нейлоновой кофточке, и считала:

— Солянка два раза, бифштекс два раза...

— Сколько же вам все-таки лет? — спросил я.

— Двадцать, — сказала она тихо. — Я из Павловска.

Ей-богу, она чуть не плакала. В ней, должно быть, в эту минуту звонили все ее тихие колокольчики и пустые фужеры...

— Вечером погуляем по палубе? — осторожно спросил я.

Она кивнула и отошла.

В эту минуту с грохотом отлетели стулья, и я увидел, как вскочили капитан и Скачков. Капитан взял Скачкова за лацкан пиджака.

— Что-о? — гремел он. — Пятки вместе, носки врозь? Это мы-то? Ать-два?

— Осторожно, — сказал Скачков, освобождаясь, — владею приемами бокса и самбо.

Вскочили старлей и техник-лейтенант.

— А по по не по? — улыбаясь сказал старлей, поворачивая Скачкова за плечо.

Это означало: «А по портрету не получишь?»

Я подбежал и стал оттирать Скачкова от летчиков.

— Товарищи, вы же видите, он пьян.

— Сопляки и дерьмо! — гремел капитан. — И ты дерьмо, хоть и демобилизованный! — крикнул он мне в лицо.

— Почему демобилизованный? — обалдел я и понял: зеленая рубашка.

— Выбирайте выражения, штабс-капитан, — процедил Скачков.

— Выйдем отсюда, — сказал капитан, и летчики зашагали к выходу на палубу.

Я понял, что нам сегодня вломят по первое число. Выходить не хотелось, но надо было идти. Мужской закон: раз тебе говорят «выйдем отсюда», значит, надо идти.

На палубе мы снова сгрудились в кучу и взяли друг друга за одежду.

— Ты знаешь, сколько раз я катапультировал? — сказал капитан, приближая ко мне свое лицо с холодными и затуманенными зрачками. — А Мишка, а Толька? Знаешь, сколько раз мы катапультировали? Это тебе ать-два?

Палуба покачивалась у нас под ногами сильнее, чем это было на самом деле.

— А ты думаешь, я не катапультировал? — с отчаянной решимостью крикнул я. — Почему ты решил, что я ни разу не катапультировал?

Капитан был озадачен.

— Иди ты, — сказал он.

— А ты думаешь, он не катапультировал? — осмелев, крикнул я, резко кивнув на Скачкова.

— Так вы, ребята, летчики? — капитан сдвинул фуражку на глаза.

— Я так и думал, что этот друг катапультировал, — сказал старлей, кивая на меня, и повернулся к Скачкову. — И ты, значит, тоже?

Он облегченно засмеялся. Он, видно, не любил драться.

— Естественно, — сказал Скачков, — катапультирование — мое обычное состояние.

— Значит, знаете, что это за штука, — улыбнулся капитан, — а я уж думал: сейчас как дам наотмашь. Ну, давайте будем друзьями.

Мы пожали друг другу руки и разошлись. Я отвел Скачкова в каюту, и там он рухнул на диван.

Я вышел на палубу. Летчики стояли на корме, разламывали булку и бросали куски мартынам. Птицы пикировали и хватали куски на лету. Я поднялся на верхнюю палубу, где капитанский мостик, и сел там, притулившись к вентиляционной трубе. Я старался не смотреть на берега, и надо мной было только огромное небо. На нем не хватало только белой полосы от реактивного самолета. Сколько раз я видел эти бесконечные хвосты, ползущие за еле заметной и изредка вспыхивающей на солнце точкой. На немыслимой высоте на сверхчеловеческой скорости проходили военные машины. Трудно было представить, что там люди, а они там были. Парни в длинных трусах, ультрасовременные люди крестьянского происхождения.

Весь свист и рев раздираемого пространства обрушился на меня. Человек мечтал когда-то уподобиться птице, а превратился в реактивный снаряд. Смертельная опасность, собранная в каждый километр, а километр — это только подумать о маме. Прекрасен пущенный в небо серебристый снаряд и человек, находящийся в нем. Человек взял в руки машину и перенял ее смелость, ибо что же тогда такое катапультирование, как не общая смелость человека и машины? Катапультирование ради спасения себя, как ценного авиаквадрата, и ради эксперимента, а то и просто «отработка техники катапультирования»??? Это та же смелость, что смелость сопла, изрыгающего огонь, и смелость несущих плоскостей. И ни минуты на мысль, и ни секунды на трусость. Нажимайте то, что надо нажать, проигрыш или выигрыш — это будет видно внизу. Смелость, естественная, как дыхание, потому что там, на большой высоте, не быть смелым — это все равно что прекратить дышать.

А на земле другие законы, думал я. Например, когда ты стоишь перед человеком, которому хочется плюнуть в лицо. Ты знаешь, что он заслужил добрый плевок в переносицу, и все в тебе дрожит от желания плюнуть. Конечно, это риск, но риск-то дерьмовый по сравнению с катапультированием на большой высоте. И ты понимаешь это, но... можно плюнуть, а можно и не плюнуть...

Это как прыжок с парашютной вышки. Можно прыгнуть, а можно в последний момент сказать, чтобы тебя отвязали. И ступешаться, тихо спуститься по лестнице.

Внизу этого могут даже не заметить, потому что толчея, а вокруг и других аттракционов полно.

Я учился в школе и окончил ее. Учился в институте и его окончил. Сейчас вот работаю. Прочел много книг. Занимался спортом. Написал несколько картин, а сейчас пробую свои силы в литературе. У меня есть умные друзья, достойные подражания, и девушки, с которыми приятно проводить время. Но почему вдруг сейчас мне стало горько оттого, что я никогда не набирал высоты, на которой перестают действовать земные законы? Никогда мой пульс не превышал ста ударов в минуту (даже после баскетбольного матча), и формула крови всегда была в покойном и прекрасном состоянии. Никогда я не терял сознания. Никогда катапульта не выстреливала мной в разреженную жгучую атмосферу.

5

Я спустился с верхней палубы в тот час, когда зажглись первые звезды и радиоузел начал свою работу опять с «Оперы нищих». За дальним лесом было светло, как возле витрины универмага, — там была луна. Крытая палуба была освещена слабо. Я вспомнил о Зине и, разыскивая ее, пошел к корме.

Я увидел ее, только когда сделал почти полный круг. Она стояла с техником-лейтенантом. Они облокотились на перила и смотрели в воду.

— Вы сами откуда? — спрашивал лейтенант.

— Откуда я, там меня нету, — хрипловато засмеялась Зина.

— А я из Череповца, — ласково сказал лейтенант.

Я прошел мимо и быстро пошел по другому борту снова к корме. Луна уже поднялась над верхушками деревьев. Когда я снова поравнялся с Зиной, на ее плечи был брошен лейтенантский сюртук с серебряными погонами.

— И вы тоже, значит, катапультировали? — совсем по-девчачьи спросила Зина. Ярко блеснул ее правый глаз.

— Нет, — сказал лейтенант печально, — я не катапультировал. Я техник. А без нас, знаете, ни одна машина не полетит...

Теплоход выходил в озеро, а луна набирала высоту. Я постоял немного на корме наедине с луной и с флагом

Северо-Западного речного пароходства. Потом снова пошел к носу.

— А я из Павловска, — тихо сказала Зина лейтенанту и склонила голову. Она не видела, что выделывал лейтенант своей левой рукой. Его рука витала над ее спиной, не решаясь опуститься. Когда она опустилась, я ушел.

Скачков сидел на диване и читал журнал «Пионер». Это была одна из его удивительных странностей — он любил с глубокомысленным видом читать этот журнал.

Он был без пиджака, но галстук затянут, а мокрые волосы расчесаны на пробор. Видно, он принял душ и очухался.

— Очухался? — спросил я, садясь напротив.

Он поднял на меня белесые, горящие дьявольской насмешкой глаза.

— Ах, не волнуйся, — сказал он, — ничего не поде-лаешь, каждому свое.

— Отвяжись ты от меня, очень прошу, — сказал я че-рез силу.

Он кивнул.

— Gute nacht.

И перевернул страницу.



ПЕРЕМЕНА ОБРАЗА ЖИЗНИ

1

Авиация проделывает с нами странные померя. Когда я прилетаю куда-нибудь самолетом, мне хочется чертыхнуться по адресу географии. Это потому, что между теми местами, откуда я приехал, и Черноморским побережьем Кавказа, оказывается, нет ни Средне-Русской возвышенности, ни лесостепей, ни просто степей. Оказывается, между нами просто-напросто несколько часов лёта. Два затертых номера «Огонька», четыре улыбки девушки-стюардессы, карамелька при взлете и карамелька во время посадки. Пора бы привыкнуть. Глупо даже рассуж-

дать на эту тему, думал я, стоя вечером на набережной в Гагре.

Над темным горизонтом косо висел тускло-багровый просвет. Море в темноте казалось спокойным, и поэтому странно было слышать, как волна пушечными ударами бьет в бетон, и видеть, как она вздымается над набережной метров на десять и осыпается с сильным шуршанием.

Ветра не было. Шторм шел где-то далеко в открытом море, а здесь он лишь давал о себе знать мощными, но чуть ленивыми ударами по пляжам.

Отдыхающие рассуждали о воде и атмосферных явлениях. Средних лет грузин, волнуясь, объяснял пожилой паре, отчего колеблется температура воды в Черном море.

— Но, Гоги, вы забываете о течениях, Гоги! — капризно сказала пожилая дама, с удовольствием произнося имя Гоги.

— Течение? — почему-то волнуясь, воскликнул грузин и заговорил о течениях. Он говорил о течениях, о Средиземном море и о проливах Босфор и Дарданеллы. Он сильно коверкал русские слова, то и дело переходя на свой язык. Чувствовалось, что он прекрасно разбирается в существе вопроса, просто волнение мешает ему объяснить все, как есть.

— Как, Гоги, — рассеянно протянула дама, глядя куда-то в сторону, — разве сюда втекает Средиземное море?

Ее муж сказал веско:

— Да нет. Сюда идет Красное море от Великого, или Тихого, океана, вот как.

Гоги трудно было все это вынести. Он почти кричал, объяснял что-то про Гольфстрим, про разные течения и про Черное море. Он прекрасно все знал и, может быть, являлся специалистом в этой области, но ему мешало волнение.

— От Великого, или Тихого, — с удовольствием повторил из-под вельюровой шляпы пожилой «отдыхающий».

Нервно, но вежливо попрощавшись, грузин ушел в темноту, а пара направилась под руку вдоль набережной. Мне стало не по себе при виде их сплоченности. Они были до конца друг за друга, и у них было единое представление о мире, в котором мы живем.

Я тоже пошел по набережной. Огоньки Гагры висели надо мной. Домики здесь карабкаются высоко в гору, но

сейчас контуров горы не было видно — гора сливалась с темным небом, и можно было подумать, что это светятся в ночи верхние этажи небоскребов. Я прошел мимо экскурсионных автобусов, они стояли в ряд возле набережной. Шоферы-грузины сидели в освещенных кабинах и беседовали со своими дружками-приятелями, которые толпились возле машин. Это были люди, каких редко увидишь в наших местах. На них были плоские огромные кепки. Они разговаривали так, словно собирались совершить нечто очень серьезное.

В тоннеле под пальмами плыли огоньки папирос. Я шел навстречу этим огонькам, то и дело забывая, что это именно я иду здесь, под пальмами, подумать только! Я, старый затворник, гуляю себе под пальмами. По сути дела, я еще был там, откуда я приехал. Там, где утром я завтракал в молочной столовой, чистил ботинки у знакомого чистильщика и покупал газеты. Там, где, за час до вылета, я зашел в телефонную будку, набрал номер и в ответ на заспанный голос сказал, что уезжаю, а после долгих и нервных расспросов даже сказал куда, назвал дом отдыха. Там, откуда я приехал, пахло выхлопными газами, как возле стоянки экскурсионных автобусов, но вовсе не роскошным парфюмерным букетом, как в этой пальмовой аллее.

— Звезда упала, — сказал впереди женский голос, прозвучавший как бы через силу.

— Загадай желание, — откликнулся мужчина.

— Надо загадывать, когда она падает, а сейчас уже поздно, — без тени отчаяния сказала женщина.

— Загадай постфактум, — веско посоветовал мужчина, и я увидел впереди тяжелые контуры велюровой шляпы.

По горизонту, отделяя бухту от всего остального моря, прошел луч прожектора. Я отправился спать. В холле дома отдыха дежурная передала мне телеграмму, в которой было написано: «Выезжаю, поезд такой-то, вагон такой-то, встречай, скоро будем вместе». Нечего было долго ломать голову — телеграмма от Ники. Вернее, от Веры. Дело в том, что ее имя Вероника. Все друзья зовут ее Никой, и это ей нравится, а я упорно зову ее Верой, и это является лишним поводом для постоянной грязни.

Дело в том, что эта женщина, Ника-Вера-Вероника, несколько лет назад вообразила, что я появился на этот

свет только для того, чтобы стать ее мужем. Мы все тогда просто обалдели от песенки «Джони, только ты мне нужен». Ее крутили каждый вечер раз пятнадцать, а Вероника все время подпевала «Генка, только ты мне нужен». Я думал тогда, что это просто шуточки, и вот на тебе!

Самое смешное, что все это тянется уже несколько лет. Я выключаю телефон у себя в мастерской, неделями и месяцами торчу в командировках, встречаюсь иногда с другими женщинами и даже завязываю кое-какие романчики, я то и дело забываю о Вере, просто начисто забываю о ее существовании, но в какой-то момент она все-таки дозванивается до меня или приходит сама, сияющая, румяная, одержимая своей идеей, что только я ей нужен, и красивая, ой какая красивая!

— Скучал? — спрашивает она.

— Еще как, — отвечаю я.

— Ну, здравствуй, — говорит она и подходит близко-близко.

И я откладываю в сторону то, что в этот момент у меня в руках, — карандаш, кассету, папку с материалами. А утром, не оставив записки, перебираюсь к приятелю в пустую дачу. Приветик! Я опять ушел целым и невредимым.

— Во всяком случае, — говорит иногда она, — я освобождаю тебя от определенных забот, приношу этим пользу государству.

Она говорит это цинично и горько, но это у нее напускное.

Я понимаю, что давно надо было бы кончить эту комедию и жениться на ней. Иногда меня охватывает такая тоска... Тоска, которую Вера, я знаю, может унять одним движением руки. Но я боюсь, потому что знаю: с той минуты, когда мы выйдем из загса, моя жизнь изменится коренным, а может быть, и катастрофическим образом.

Да, мне бывает неуютно, когда я ночью отхожу от своего рабочего стола к окну и вижу за рекой дом, который стоит там триста лет, но ведь человечество настолько ушло вперед, что может позволить отдельным своим представителям не заводить семьи. И наконец, черт возьми, «пароходы, строчки и другие долгие дела»? А может быть, мысли и чувства каждого, сливаясь с мыслями и чувствами поколений, передаются дальше, так же, как гены?

А Вероника и не думает стареть. Она влюбилась в меня, когда ей было двадцать лет, и с тех пор ни капельки не изменилась. Может быть, ей кажется, что прошли не годы, а недели? Шумная, цветущая, она — дитя Технологического института, и отсюда разные хохмы, и резкая манера говорить, а в глубине она до тошноты сентиментальна. Мне кажется, что она родилась на юге, но она говорит — нет, на севере.

Черт дернул меня позвонить ей сегодня утром за час до отлета, что я, забыл, дурак, что она не может злиться на меня больше часа? Ведь в то время, когда я летел, она уже развивала свою хваленую активность и, наверно, даже умудрилась достать путевку в этот самый дом отдыха.

— Во сколько приходит такой-то поезд? — спросил я дежурную. Она сказала, во сколько, и я поднялся по темной лестнице, вошел в свою комнату, разделся и заснул.

Надо сказать, что мне тридцать один год. Со спортом все покончено, однако я стараюсь не опускаться. Утренняя гимнастика, абонемент в плавательный бассейн — без этого не обходится. Правда, все эти гигиенические процедуры — а иначе их не назовешь — летят к чертям, когда я завожусь. А так как я почти постоянно на полном «заводе»... В общем, попробуйте поплавать! Во время «завода» я выключаю телефон и не отхожу от своего рабочего стола, спускаюсь только за сигаретами. Хозяйка приносит мне обед и кофе, такой, что от него колотится сердце. Почти все мои товарищи ведут такой же образ жизни.

Раньше я работал в проектном бюро. Одна стена у нас была стеклянная, и зимою ранняя луна имела возможность наблюдать за работой сотни парней и девушек, склонившихся над своими досками. Мы все были в ковбойках. В глазах рябило от шотландской клеточки, когда ты после перекура заходил в зал. Грань между институтом и этим бюро для всех нас стерлась, мы все продолжали выполнять какой-то отвлеченный урок, похожий на теорему, которая взялась неизвестно откуда. Чтобы понять, над чем мы работаем, нужно было сильно подумать, но многие из нас быстро утратили эту способность. Мне казалось тогда, что весь мир сидит в больших и низких залах, где одна стена стеклянная. И луна приценивается к каждому из нас.

Потом мне стало представляться, что весь мир сидит до утра в серых склепах своих мастерских, корчится в творческих муках, томится у окна, думая о женской любви, которая, возможно, прочнее любого дома на той стороне реки, наутро начинает кашлять, и — вот тебе на! — бац, в легких какие-то очажки!

Потом ты лечишься без отрыва от труда (уколы в правую ягодицу и порошок столовыми ложками), и пожалуйста...

— Теперь вы практически здоровы. А с психикой у вас все в порядке? Вы знаете, в организме все взаимосвязано. Нужно переменить образ жизни.

— Ты что, Генка, взялся за перпетуум-мобиле? Какой-то блеск в глазах...

— Как будто бы ты, Геннадий, сам не понимаешь, что организму нужен отдых.

Три года уже я никуда не ездил без дела, и вот я в Гагре. Я сплю голый в большой комнате, и Гагра шевелится во мне, как толстое пресмыкающееся со святищами внутренностями.

Утром я увидел вместо окна плакат, призывающий вносить деньги в сберегательную кассу. На нем было все, что полагается: синее море, в углах симметрично кипарисы, виднелся кусок распрекрасной колоннады и верхушка пальмы. Я встал на этом фоне и крикнул на весь мир: «Накопил и путевку купил!» Потом вспомнил про телеграмму и стал одеваться. Посмотрелся в зеркало. Вид пока что не плакатный, но все впереди.

2

На вокзале в кадучках стояли пальмы. Из раскрытых окон ресторанной кухни веяло меланхолией и свежей бараньей кровью. По перрону, пряча глаза в букеты, прогуливались вразнобой пятеро мужчин в возрасте. Мне странно было видеть, что они гуляют вразнобой. По-моему, они должны были бы построиться друг другу в затылок и маршировать. За пять минут до прихода поезда на перроне появились неразговорчивые московские студенты. Из сумок у них высовывались дыхательные трубки, ласты и ракетки для бадминтона. Компания была первоклассная, надо сказать. Потом их бегом догнала одна — уж такая! — девушка... Но поезд подошел.

Первым выпрыгнул на перрон здоровенный блондин. Он бросил на асфальт чемодан, раскрыл руки и заорал:
— О пальмы в Гагре!

Он был неописуемо счастлив. Со знанием дела осмотрел «ту» девушку, подхватил чемодан и пошел легкой упругой походкой, готовый к повторению прошлогоднего сезона сокрушительных побед.

Поезд еще двигался. Мужчины в соломенных шляпах трусили за ним, держа перед собой букеты, как эстафетные палочки. Я сделал скачок в сторону, купил букет и побежал за этими мужчинами, уже видя в окне бледную от волнения Веронику. Она заметила у меня в руках букет и изумленно вскинула брови.

— Здравствуй, Ника, — сказал я, обнимая ее, — ты знаешь...

3

Мы вели удивительный образ жизни: ели фрукты, купались и загорали, а вечером весело ужинали в скверном ресторане «Гагрипш», весело отплясывали под более чем странный восточный джаз, и все это было так, как будто так и должно быть. Мы наблюдали за залом, в котором задавали тон блондины титанической выносливости, и смеясь называли мужчин «гагерами», а женщин «гагарами», а детей «гагриками». Совершая прогулки в горы или расхаживая по вечерним улицам Гагры, мы произносили доступные восточные слова: «маджари», «чача», «чурчхела»... Я называл Веронику Никой и каждый день приносил ей цветы, а она не могла нарадоваться на меня и хорошела с каждым днем.

Ей все здесь страшно нравилось: пряные запахи парков и меланхолия буфетчиков-армян, чурчхела и сыр «сулгуни» и, разумеется, горы, море, солнце... Она уплывала далеко от берега в ластах и маске с дыхательной трубкой и заставляла о себе думать: ныряла и долго не появлялась на поверхность. Потом она выходила из воды, ложилась в пяти метрах от меня на гальку и поглядывала, блестя глазами, словно говоря: «Ну и дурак ты, Генка! Где еще такую найдешь?»

На пляже мы не разговаривали друг с другом, считалось, что я работаю — сижу с блокнотом, пишу, рисую, обдумываю новые проекты. Я действительно сидел с блокнотом и писал в нем, когда Вероника выходила из воды:

«Вот тебе на! Она не утонула. Ну и ну, на небе ни облачка. О-хо-хо, поезд пошел... Ту-ру-ру, он пошел на север... Эге-ге, хочется есть... Че-пу-ха! Съем-ка грушу...» — и ривовал животных.

И так каждый день по несколько страниц в блокноте. Я не мог здесь работать. Все мне мешало: весь блеск, и смех, и шум, и гам, и Ника, хотя она и лежала молча. Но все-таки я делал вид, что работаю, и она не посягала на эти часы. Может быть, она понимала, что я этими жалкими усилиями отстаиваю свое право на одиночество. А может быть, она ничего не думала по этому поводу, а просто ей было достаточно лежать в пяти метрах от меня на гальке и блестеть глазами. Наверно, ей было достаточно завтрака и обеда, и послеобеденного времени, и вечера, и той части ночи, что мы проводили вместе, — всего того времени, когда мы были в достаточной близости.

Она была совершенно счастлива. Все окружающее было для нее совершенно естественной и, казалось, единственно возможной средой, в которой она должна была жить с детства до старости. Казалось, она никогда не ходила в лабораторию, не пробивала свой талон в часах, что поставили сейчас во всех крупных учреждениях. Никогда она не ежилась от холода под морозящим северным дождем, никогда не простаивала в унизительном ожидании возле подъезда моего дома, никогда не звонила мне по ночам. Всегда она была счастлива в любви, всегда она шествовала в очень смелом сарафане по пальмовой аллее навстречу любимому и верному человеку.

— Привет, гагер!

— Привет, гагара!

— Хочешь меня поцеловать?

Всегда она спрашивала так, зная, что я тут же ее поцелую и преподнесу ей магнолию и мы чуть ли не вприпрыжку отправимся на пляж.

Вдруг она сказала мне:

— Почему ты ходишь все время в этой? У тебя ведь есть и другие рубашки.

Я вздрогнул и посмотрел на нее. В ее глазах мелькнуло беспокойство, но она уже шла напролом.

— Сколько у тебя рубашек?

— Пять, — сказал я.

— Ну вот видишь! А ты ходишь все время в одной. Мо-

жет быть, пуговицы оторваны на других? Ну конечно! Разве у тебя были когда-нибудь рубашки с целыми пуговицами!

— Да, нет пуговиц, — сказал я, отводя взгляд.

— Пойдем, пришью, — сказала она решительно.

Мы пришли в мою комнату, я вытащил чемодан, положил его на кровать, и Ника, как мне показалось, с каким-то вождедением погрузилась в его содержимое...

Я вышел из комнаты на балкон. Все было как положено: красное солнце садилось в синее море. Все краски были очень точные — югу чужды полутона. Внизу, прямо под балконом, на площадке, наша культурница Надико проводила мероприятие.

— Прекрасный фруктовый танец «Яблочко!» — кричала она, легко пронося по площадке свое полное тело.

Среди танцующих я заметил человека, который в день моего приезда на набережной спорил с грузином Гоги по вопросу о течениях. Я с трудом узнал его. Крепкий загар скрадывал дряблость его щек, велюровую шляпу он сменил на головной убор сборщиков чая. Он совершенно естественно отплясывал в естественно веселящейся толпе. Он выкидывал смешные коленца, был очень нелеп и мил, видимо начисто забыв в этот прекрасный миг, к чему его обязывают занимаемый пост и общая ситуация. Тут же я увидел его жену. Она шла прямо под моим балконом с двумя другими женщинами.

— Вы даже не знаете, какая я впечатлительная, — лепетала она. — Когда при мне говорят «змея», я уже падаю в обморок.

Я стоял на балконе и смотрел на Гагру, на эту узкую, просто метров двести шириной, полосу ровной земли, зажатую между мрачно темнеющими горами и напряженно-багровым морем. Эта длинная и узкая Гагра, Дзвели Гагра, Гагришш и Ахали Гагра, робко, но настырно пульсировала, уже зажигались фонари и освещались большие окна, автобусы включали фары, а звонкие голоса культурработников кричали по всему побережью:

— Веселый спортивный танец фокстрот!

Кто может поручиться, что море не вспучится, а горы не извергнут огня? Такое ощущение было у меня в этот момент. Тонкие руки Ники легли мне на плечи. Она вздохнула и вымолвила:

— Боже мой, как красиво...

— Что красиво? — спросил я ровным голосом.

— Все, все, — еле слышно вымолвила она.

— Все это искусственное, — резко сказал я, и она отдернула пальцы.

— Что искусственное?

— Пальмы, например, — пробурчал я, — это искусственные пальмы.

— Не говори глупостей! — вскричала она.

— Зимой, когда уезжают все курортники, их красят особой устойчивой краской. Неужели ты не знала? Наивное дитя!

— Дурак! — облегченно засмеялась она.

— Блажен, кто верует, — проскрипел я. — Все искусственное. И эти парфюмерные запахи тоже. По ночам деревья опрыскивают из пульверизатора специальным хм-раствором, а изготавливает этот раствор завод в Челябинской области. Копоть там, вонища! Перерабатывают каменный уголь и деготь...

— Ну хватит! — сердито сказала она.

— Все эти субтропики — липа.

— А что же не липа? — спросила она.

— Дождь и мокрый снег, глина под ногами, кирзовые сапоги, товарные поезда, пассажирские, пожалуй, тоже. Самолеты — это липа. Мой рабочий стол — не липа и твоя лаборатория тоже. Рентген... — помолчал, добавил я.

— Не понимаю, — потерянно прошептала она.

— Ну как же ты не понимаешь? Вот когда строили этот дом и возили в тачках раствор, а кран поднимал панели — это была не липа, а когда здесь танцуют «фруктовый танец «Яблочко» — это липа.

— Какую чушь ты мелешь! — воскликнула она. — Люди сюда приезжают отдыхать. Это естественно...

— Правильно. Но не мешало бы им подумать и о другом на такой узкой полоске ровной земли, — сказал я, но она продолжала свою мысль:

— Ведь ты же сам работаешь для того, чтобы люди могли лучше отдыхать.

— Я работаю ради самой работы, — сказал я из чистого пижонства, и она тут же вскричала:

— Ты пижон и сноб!

Каким-то образом я возразил ей, и она что-то снова стала говорить, я ей как-то отвечал, и долго мы спорили

о чем-то таком, о чем, собственно, и не стоило нам с ней спорить.

— Генка, что с тобой сегодня происходит? — спросила наконец она.

— Просто хочется выпить, — ответил я.

4

«Гагрипш» был битком набит, и мы с трудом нашли свободные места за одним столом с двумя молодыми людьми — блондинами в пиджаках с узкими лацканами. Они сетовали друг другу на то, что в Гагре «слабовато с кадрами, а если и есть, то все уже склеенные (взгляд на Веронику), и как ни крути, а, видно, придется ехать в Сочи, где — один малый говорил — этого добра навалом».

Мы сделали заказ. Официантка несколько раз подбежала, а потом все-таки принесла что-то. В зал вошел Грохачев. Он шел меж столиков, такой же, как всегда, проницательно-расслабленный, с неясной улыбкой на устах. Увидеть его здесь было неожиданно и приятно. Грохачев такой же затворник, как я, и работаем мы с ним в одной области, часто даже в командировки ездим вместе.

— Эй, Грох! — я помахал ему рукой, и он, раздобыв где-то стул, подсел к нам.

Оказывается, он оставил жену в Гудаутах и сейчас в гордом одиночестве шпарил в своем «Москвиче» домой.

Мы заговорили о своих делах. Под коньяк это шло хорошо, и мы забыли обо всем. Иногда я видел, как Вера танцует то с одним блондинчиком, то с другим. Они повеселели, им, видно, казалось, что дела у них пошли на лад. Потом они ушли в туалет, и после этого похода Вера танцевала уже только с одним блондином, а другой совершал бесплодные атаки в дальний конец зала.

Потом мы все впятером вышли на шоссе и стали ловить такси. Блондину ужасно везло. Он поймал «Москвич» и уселся в него с Вероникой и со своим приятелем, таким же, как он, блондином. А «Москвич», как известно, берет только троих. Я смотрел в ту сторону, где скрылись стоп-сигналы такси, и слушал Гроха. Он рассказывал о своей давней тяжбе с одним управлением, которое осуществляло его проект. Минут через пятнадцать он опомнился.

— Слушай, у меня же машина в сотне метров отсюда. Зачем ты отпустил Нику с этими подонками?

— Что ты, не знаешь Нику? — сказал я. — Она уже давно с ними расправилась и ложится спать.

Мы нашли его машину, сели в нее и поехали. Грох спросил:

— Вы с ней расписались наконец?

— Пока нет.

— Чего ты тянешь? Поверь, это не так уж страшно.

— Сколько километров отсюда до Гудаут? — спросил я.

Он посмеялся, и снова мы перешли на профессиональные темы. Странно, несколько лет назад мы могли болтать много часов подряд о чем угодно, а вот теперь, куда ни гни — все равно возвращаешься к работе.

Грох довез меня до дома. Я вылез из машины и сразу заметил Нику. Она сидела на скамейке и ждала меня. Я обернулся. Машина еще не отъехала.

— Грох, ты во сколько завтра едешь?

— Примерно в полдень.

— Твоя стоянка возле гостиницы? Может быть, я поеду с тобой.

— Ну что ж! — сказал Грох.

Он уехал, а я подошел к Нике. Она, смеясь, стала рассказывать о мальчиках, как они ее «кадрили», как это было смешно. Обнявшись, мы пошли к дому, который белел в темноте в конце кипарисовой аллеи. Я не сказал Нике, что завтра уеду из этого рая, где наша любовь может расцвести и окрепнуть, где люди меняют тяжелые шляпы на головные уборы сборщиков чая. А уеду я не потому, что не люблю ее, а может быть потому, что Грох катит домой и будет в своей норе раньше меня на неделю, если я останусь в этом раю.

5

Утром я уложил чемодан и благополучно проскользнул мимо столовой. Оставил у дежурной записку для Ники и вышел на шоссе. Автобусом я доехал до парка и пошел завтракать в чебуречную. Я знал, что там подают крепкий восточный кофе, и решил сразу, с утра, накачаться кофе вместо всех этих кефирчиков и ацидофилинов, чем потчуют в доме отдыха.

Чебуречная была под открытым небом, вернее, под кроной огромного дерева. С удовольствием я глотал об-

жигающую черную влагу, чувствуя, как проясняется мой заспанный мозг. Чемодан стоял рядом, и никто в мире не знал, где я нахожусь в этот момент. За соседним столиком ел человек в шляпé сборщика чая. Жир стекал у него по подбородку, он наслаждался, попивая светлое вино, в котором отражалось солнце. Может быть, он наслаждался тем же, что и я.

Вдруг он отложил чебурек и позвал:

— Чибисов! Василий!

Смущенно улыбаясь и переминаясь с ноги на ногу, к нему подошел стриженный «под бокс» парень в голубой «бобочке», в коричневых широких штанах.

— Курортный привет, товарищ Уваров!

— Садись. Давно приехал? — торопливо спросил Уваров, снял и спрятал за спину свою белую шляпу.

— Вчера прилетел.

— Ну, как там у нас? Пустили третий цех?

— Нет еще.

— Почему?

— Техника безопасности резину тянет.

— Безобразне! Вечно суют палки в колеса.

Они заговорили о строительстве. Уваров говорил резко, возмущенно, а Чибисов отвечал обстоятельно и с виноватой улыбочкой.

— Дайте еще один стакан, — сердито сказал Уваров официантке.

Она принесла стакан, и он налил в него «цинандали».

— Пей, Василий!

— За поправку, значит, — с ухмылкой сказал Чибисов и поднял стакан двумя пальцами.

— Ну как тебе тут? — спросил Уваров.

Чибисов залпом выпил «цинандали».

— Хорошо, да только непривычно.

Уваров встал.

— Ну ладно! Тебе когда на работу выходить?

— Сами знаете, Сергей Сергееч.

— Вот именно — знаю, смотри, ты не забудь. Ну ладно, пока. Пользуйся правом на отдых.

Он ушел. Чибисов сидел за столиком, вертел в пальцах пустой стакан и неуверенным взглядом обводил горящий на солнце морской горизонт. У парня было красное, обожженное ветром лицо, шея такого же цвета и кисти рук, а дальше руки были белые, и, словно склероз, на пред-

плече синела татуировка. Мне хотелось выпить с этим парнем и сделать все для того, чтобы он поскорее почувствовал себя здесь в своей тарелке, потому что уж он-то знает, что такое липа, а что — нет, и он знает, что рай — это непривычное место для человека.

Я встал, поднял чемодан и пошел по аллее. Надо мной висели огромные листья незнакомых мне деревьев, аллею окаймляли огромные голубые цветы. Навстречу мне шла Ника. Я не удивился. Я удивился бы, если бы ее здесь не оказалось. Эта аллея была специально оборудована для того, чтобы по ней навстречу мне, сверкая зубами, глазами и волосами, шла тоненькая девушка Вероника, Вера-Ника. Она взяла меня под руку и пошла со мной.

— Что же, наша любовь — это тоже липа? — спросила она улыбаясь.

— Это магнолия, — ответил я.

На шоссе нас догнал Грохачев. Он притормозил и спросил меня:

— Значит, не едешь?

— У меня есть еще десять дней, — ответил я, — в конце концов, я имею право на отдых.

Грох улыбнулся нам очень по-доброму.

— Ну, пока, — сказал он. — Все равно скоро увидимся.



ЗАВТРАКИ СОРОК ТРЕТЬЕГО ГОДА

— Да-да, есть такая теория, вернее, гипотеза. Предполагается, что спутники Марса — Фобос и Деймос — несколько тормозятся атмосферой этой планеты. Следовательно, внутри они полые, понимаете? А полые тела, как известно, могут быть созданы только... как?

— Только, только... — залепетала, словно школьница, первая дама.

— Только искусственным путем.

— Боже мой! — воскликнула более сообразительная вторая дама.

— Да, искусственным. Значит, они сделаны какими-то разумными существами.

Я смотрел на человека, который рассказывал столь интересные вещи, и мучительно пытался вспомнить, где я видел его раньше. Он сидел напротив меня в купе, покачивал элегантно вскинутой ногой. Он был в синем, достаточно модном, но не вызывающе модном, костюме, в безупречно белой рубашке и галстучке в тон костюму. Все в нем показывало человека не опустившегося, да и не собирающегося опускаться, к тому же и лет ему было не так уж много — максимум тридцать пять. Некоторая припухлость щек делала его лицо простым и милым. Все это не давало мне ни малейшей возможности предполагать, что я его где-то встречал раньше. И только то, что он иногда как-то странно знакомо кривил губы, и временами мелькающие в его речи далекие и знакомые интонации заставляли приглядываться к нему.

— Последние находки в Сахаре и Месопотамии позволяют думать, что в далекие времена на Земле побывали пришельцы из космоса.

— Может быть, те самые марсиане? — в один голос ахнули дамы.

— Не исключена и такая возможность, — улыбаясь сказал он. — Не исключена возможность, что мы прямые потомки марсиан, — весело закончил он и, оставив дам в смятенном состоянии, взялся за газеты.

У него была толстая пачка газет, много названий. Он просматривал их по очереди и, просмотрев, клал на стол, придавливая локтем.

За окном проносились красные сосны и молодой подлесок, мелькали яркие солнечные поляны. Лес был теплый и спокойный. Я представил себе, как я иду по этому лесу, раздвигая кусты и путаясь в папоротниках, и на лицо мне ложится невидимая лесная паутина, и я выхожу на жаркую поляну, а белки со всех сторон смотрят на меня, внушая добрые скудоумные мысли.

Все это почему-то самым решительным образом противоречило тому, что связывало меня с этим человеком, укравшимся за газетой.

— Разрешите посмотреть, — попросил я и легонько дернул у него из-под локтя газету.

Он вздрогнул и выглянул из-за газеты так, что я сразу его вспомнил.

Мы учились с Ним в одном классе во время войны в далеком перенаселенном, заросшем желтым грязным льдом волжском городе. Он был третьегодник, я догнал Его в четвертом классе в сорок третьем году. Я был тогда хил, ходил в телогрейке, огромных сапогах и темно-синих штанах, которые мне выделили по ордеру из американских подарков. Штаны были жесткие, из чертовой кожи, но к тому времени я их уже износил, и на заду у меня красовались две круглые, как очки, заплаты из другой материи. Все же я продолжал гордиться своими штанами — тогда не стыдились заплат. Кроме того, я гордился трофейной авторучкой, которую мне прислала из действующей армии сестра. Однако я недолго гордился авторучкой. Он отобрал ее у меня. Он все отбирал у меня — все, что представляло для Него интерес. И не только у меня, но и у всего класса. Я вспомнил и двух Его товарищей — горбатого паренька Лёку и худого, бледного, с горячими глазами Казака. Возле кинотеатра «Электро» вечерами они продавали папиросы раненым и каким-то удивительно большим, огромным женщинам. Я дружил с Абкой Цицерсоном, и мы с ним часто ходили в кино — пролезали через угольную яму и устраивались на балконе возле аппаратной. Боже ты мой, Джордж из Динки-джаза, и Антоша Рыбкин, и жалкий, вечно попадающий впросак Гитлер, к которому только подойти, дать ему промеж рог — и дух из него вон. Но настоящий Гитлер был не такой, мы это знали и, сидя в темноте возле аппаратной, придумывали казнь настоящему. Посадить его в клетку и возить по всем городам, чтобы люди плевали и бросали окурки. Нет, лучше опустить его в расплавленный свинец. А вот еще в Китае есть хорошая казнь под названием «Тысяча кусочков».

Когда мы выходили из кино, мы постоянно наталкивались на них. Они попрыгивали с ноги на ногу и покрикивали:

— Эй, летуны, папиросы есть?

Мы с Абкой старались обойти их, укрыться в тени, но они все равно нас не замечали. Вечером они не узнавали нас, словно мы не учились с ними в одном классе, словно

они не отбирали у нас каждый день наших школьных завтраков.

В школе нам каждый день выдавали завтраки — липкие булочки из пеклеванной муки. Староста нес их наверх в большом блюде, а мы стояли на верхней площадке и смотрели, как к нам плывет из школьных холодных недр, из горестных глубин плывет это чудесное блюдо.

— Правда, интересное событие? — сказал я Ему и показал то место в газете, где было сказано о событии.

Он заглянул, улыбнулся и стал рассказывать мне подробности этого события. Я кивал и смотрел в окно. Мне было трудно смотреть в Его голубые глаза, потому что они каждый день встречали меня за углом школы.

— Давай, — говорил Он, и я протягивал Ему свою булочку, на которой оставались вмятины от моих пальцев.

— Давай, — говорил Он следующему, а рядом с ним работали Лёка и Казак.

Я приходил домой и ждал младшую сестренку. Потом мы вместе ждали тетю. Тетя возвращалась с базара и приносила буханку хлеба и картошку. Иногда она ничего не приносила. Тетя дралась за нас с сестренкой с покорной, вошедшей уже в привычку яростью. Каждое утро, собираясь в школу, я видел, как она проходит под окнами, широкоплечая и низкая, нос картошкой, а тонкие губы сжаты.

Однажды она сказала мне:

— Нина приносит завтраки, а ты нет. Рустам приносит и все ребята с того двора, а ты съедаешь сам.

Я вышел во двор и сел на поломанную железную койку возле террасы. В сером темнеющем небе над липами кружили грачи. За забором шли военные девушки. «И пока за туманами виден был паренек, на окошке у девушки все горел огонек». Чем питаются грачи? Насекомыми, червяками, воздухом? Им хорошо. А может быть, у них тоже есть кто-нибудь такой, кто все отбирает себе? Флюгер над нашим домом резко скрипел. Низко над городом шли пикировщики. Что будет со мной?

Всю ночь тетя стирала. Вода струилась за ширмой, плескалась, булькала. Темнели омуты, гремели водопады, Гитлер в смешных полосатых трусах захлебывался в мыльной воде, тетя давила его своими узловатыми руками.

На следующий день произошло событие. Булочки были смазаны тонким слоем сала «лярд» и посыпаны яичным порошком. Я вырвал из тетрадки листок, завернул в него булочку и положил ее в сумку. За углом, сотрясаясь от отваги, я схватил Его за пуговицы и ударил. Абка Циперсон сделал то же самое и кое-кто из ребят тоже. Через несколько секунд я лежал в снегу, Казак сидел верхом на мне, а Лёка совал мне в рот мой же завтрак:

— На, смелый, кусни!

— Вот вся суть этой истории, — сказал Он. — Я это знаю потому, что мой близкий друг имел к этому некоторое отношение. А в газетах только голая информация, подробности события часто ускользают, это естественно.

— Понятно, — сказал я и поблагодарил Его: — Спасибо.

Рядом мило щебетали дамы. Они угощали друг друга вишнями и говорили о том, что это не вишни, что вот на юге это вишни, и неожиданно выяснилось, что обе они родом из Львова, боже мой, и вроде бы жили на одной улице, и, кажется, учились в одной школе, и совпадений оказалось так много, что дамы в конце концов слились в одно огромное целое.

На другой день, когда кончился последний урок, я положил тетрадки в сумку и оглянулся на «камчатку». Казак, Лёка и Он сидели вместе на одной парте и улыбались, глядя на меня. По моему лицу они, видимо, поняли, что я снова буду отстаивать свой завтрак. Они встали и вышли. Я нарочно долго сидел за партой, ждал, когда все уйдут. Мне не хотелось снова вовлечь в это бессмысленное дело Абку и других ребят. Когда все ушли, я проверил свою рогатку и высыпал из сумки в карман запас оловянных пуль. Если они снова будут стоять за углом, я выпущу в них три заряда и наверняка попаду каждому в морду, а потом, как Антоша Рыбкин, четким и легким приемом схвачу одного из них за ногу, может быть Лёку или Казака, но лучше Его, и опрокину на спину. Ну, а потом будь что будет. Пусть они меня избьют, я буду делать это каждый день.

Я медленно спускался по лестнице, перебирая в кармане оловянные пули. Кто-то прыгнул мне сверху на спи-

ну, а впереди передо мной вырос Он. Он схватил меня пятерней за лицо и сжал. Снизу кто-то потянул меня за ноги. Слышался легкий презрительный смех. Работа шла быстрая. Они стащили с меня сапоги и размотали все, что я накручивал на ноги. Потом они развесили все это дурно пахнущее тряпье на лестнице и стали спускаться.

— Держи сапоги, смелый! — крикнул Он, и мои сапоги, смешно кувыркаясь, взлетели вверх. Весело смеясь, шайка удалилась. Завтрак мой прихватить они забыли.

— Разрешите пригласить вас отобедать со мной в вагон-ресторане, — сказал я Ему.

Он отложил газеты и улыбнулся.

— Я только что хотел сделать это по отношению к вам, — сказал Он. — Вы меня опередили. Позвольте мне пригласить вас.

— Нет-нет! — охваченный огромным волнением, вскричал я. — Как говорится в детстве, чур-чур. Вы меня понимаете?

— Да, понимаю, — сказал Он, внимательно глядя мне в глаза...

Я заплакал. Я собирал свои тряпочки, предметы тетиной заботы, и плакал. Я чувствовал, что теперь уже я разбит окончательно и не скоро смогу разогнуться и что пройдет еще немало лет, прежде чем я смогу забыть этот легкий презрительный смех и пальцы, сжимавшие мое лицо. Раздались звонок и нарастающий топот многих ног, и по лестнице мимо меня с гиканьем скатилась лавина старшеклассников.

Я вышел на улицу и пересек ее, пролез между железными прутьями и пошел по старому запущенному парку, по аллее, в конце которой неслась ватага старшеклассников. Я медленно брел по их следам, мне хотелось посмотреть, как они играют в футбол.

Там, возле наполовину растасканной на дрова летней читальни, была вытоптанная нашей школой площадка. Старшеклассники, разбившись на две ватаги, проносились по ней то туда, то сюда. Каждое наступление было сокрушительным, в какую бы сторону оно ни велось, оно было стремительным и диким, с неизбежными потерями и

с победным воем. Волны пота то набегали, то уносились прочь, а я сидел у кромки поля, и надо мной проносились большие сильные ноги, валенки, сапоги, и, словно желая вселить в меня уверенность в своих силах, они дрались за свое право владеть мячом все сильнее, все ожесточеннее, они, старшекласники.

Проваливаясь по пояс в глубокий снег, я подавал им мячи, залетавшие в парк.

Я так и не знаю, было это поражением или победой. Иногда они, Казак, Лёка и Он, останавливали меня и отбирали завтрак, и я не сопротивлялся, а иногда они почему-то не трогали меня, и я нес свою булочку домой, и вечером мы пили чай, закусывая вязкими ломтиками пеклеванного теста...

Мы шли по вагонным коридорам, и я открывал перед Ним двери и пропускал Его вперед, а когда Он шел впереди, Он открывал передо мной двери и пропускал меня вперед. Мне повезло — дверь в ресторан открыл я.

Как-то они узнали, что мать Абки Циперсона работает в больнице.

— Слушай, Старушка-Не-Спеша-Дорожку-Перешла, притащил бы ты от своей матухи глюкозу, — сказали они ему.

Абка некоторое время уклонялся, а потом, когда они «расписали» в ключья его портфель, принес им несколько ампул. Глюкоза им понравилась — она была сладкая и питательная. С тех пор они стали звать Абку не так, как раньше, а Глюкозой.

— Эй, Глюкоза, — говорили они, — иди-ка сюда!

Не знаю, от чего Абка больше страдал: от того ли, что ему приходилось воровать, или от того, что его прозвали так заразительно и стыдно.

Так или иначе, но однажды я увидел, что он дерется с ними. Я бросился к нему, и нас обоих сильно избили. Каждый из этой троицы был сильнее любого из нашего класса. Они были старше нас на три года.

Конечно, мы могли бы объединиться и сообща им «отоварить», но школьный кодекс говорил, что драться можно только один на один и до первой крови. В силу

своей мальчишеской логики мы не понимали, как это можно бить того, кто явно слабее, или втроем бить одного, или всем классом бить троих. В этом все дело: они боролись за еду, не придерживаясь кодекса. И еще в том, что они не отстаивали, а отбирали. Они были старше нас.

«Почему же Он меня не узнает?» — думал я.

В вагон-ресторане было пусто, красиво и чисто. Столики светились белыми крахмальными скатертями, и только один, видимо недавно покинутый, хранил следы обильного пиршества.

Я заказывал. Я не скупился. Коньяк — так «Отборный», прекрасно. Не время мне было скупиться и зажимать монету. Самое время было разойтись вовсю. Жаль, что в отношении еды пришлось ограничиться обычным вагон-ресторанным набором — солянка, шашлык и компот из слив.

Я вел с Ним простой дружелюбный разговор о смене времен года и смотрел на Его руки, на маленькие рыжие волосики, выбивающиеся из-под браслета. Потом я поднял глаза и вспомнил еще одну интересную вещь.

Сердце у Него было не с левой, а с правой стороны. Позднее я узнал, что это явление называется «декстрокардией» и бывает, в общем, редко, страшно редко, считанные единицы таких людей на свете.

В самом начале учебного года, когда они еще не перешли на насильственное изъятие продовольственных излишков, Он спорил с нами на этот счет. Спорил на завтрак.

— Спорим, что у меня сердце не с той стороны, — говорил Он и горделиво расстегивал рубашку. Потом, когда все уже узнали об этой Его особенности, Он перешел на силовой шантаж.

— Спорим? — спрашивал Он, садился рядом и выворачивал тебе руку. — Споришь или нет? — и расстегивал рубашку.

Тук-тук, тук-тук — ровно и мирно стучало с правой стороны сердце.

Тяжелую лучистую поверхность солянки тревожила равномерная вагонная тряска. Янтарные капли жира дрожали, собирались вокруг маленьких кусочков сосиски, плававших на поверхности, а в глубинах этого варева таилось черт те что — кусочки ветчины, и огурцы, и кусочки куриного мяса.

— Какой хлеб! — сказал я. — А помните, во время войны был какой хлеб?

— Да, — сказал Он, — неважный был тогда хлеб.

Я набрался сил и посмотрел Ему в глаза:

— Помните наши школьные завтраки?

— Да, — твердо сказал Он, и я понял по Его тону, что силы у Него по-прежнему достаточно.

— Такие вязкие пеклеванные булочки, да?

— Да-да, — улыбнулся Он, — ну и булочки...

Ноги у меня ходили ходуном. Нет, я не могу сейчас. Нет, нет... Пусть Он все съест. Ведь мне приятно смотреть, как Он ест. Он насытится, и я заплачу.

— Сало «лярд» и яичный порошок, а? — с легкостью усмехаясь, спросил я.

— Второй фронт? — в тон мне улыбнулся Он.

— Но больше всего мы любили тогда подсолнечный жмых.

— Это было лакомство, — засмеялся Он.

Обед продолжался в блистательном порхании улыбок.

Французы делают так: наливают коньяк, плюют в него и выплескивают таким вот типам в физиономию. Разным там коллаборационистам.

— Выпьем? — сказал я.

— Ваше здоровье, — ответил Он.

Подали шашлык.

Прожевывая сочное, хорошо прожаренное мясо, я сказал:

— Конечно, это не «Арагви», но...

— Совсем неплохо, — подхватил Он, кивая головой и словно прислушиваясь к ходу своих внутренних соков. — Соус, конечно, не «ткемали», но...

Тут меня охватила такая неслыханная злоба, что... Ах ты гурман! Ты гурман. Ты знаешь толк в еде и в винах, наверное и в женщинах, должно быть... А ручку мою ты по-прежнему носишь в кармане?

Я взял себя в руки и продолжал востольную беседу в заданном ритме и в нужном тоне.

— Удивительное дело, — сказал я, — как усложнилось с ходом истории понятие «еда», сколько вокруг этого понятия споров, сколько нюансов в этом понятии...

— Да-да, — подхватил Он с готовностью, — а ведь понятие самое простое.

— Верно. Проще простого — еда. Е-да. Самое простое и самое важное для человека.

— Ну, это вы немножко преувеличиваете, — улыбнулся Он.

— Нет, действительно. Еда и женщины — самое важное, — продолжал я свою наивную мистификацию.

— Для меня есть и более важные вещи, — серьезно сказал Он.

— Что же?

— Мое дело, например.

— Ну, все это уже позднейшие напластования.

— Нет, вы меня не понимаете...

Он стал развивать свои соображения. Я понял, что Он меня не узнает. Я понял, что Он меня никогда не узнает, как не узнал бы никого другого из нашего класса, кроме Лёки и Казака. И я понял, почему Он не узнал бы никого из нас: мы не были для Него отдельными личностями, мы были массой, с которой просто иногда нужно было немного повозиться.

— Ну где уж мне вас понять! — неожиданно для самого себя грубо воскликнул я. — Понятно, для вас еда — это что! Ведь вы же прямой потомок марсиан!

Он осекся и смотрел на меня, сузив глаза. На пухлых его щеках появились желваки.

— Тише, — тихо произнес Он, — вы мне аппетита не испортите. Понятно?

Я замолчал и взялся за шашлык. Кюльяк стоял при мне, и никогда не поздно было в него плюнуть. Пусть Он только все съест и я заплачу!

Рядом с нами сидел человек в бедной клетчатой рубашке, но зато в золотых часах. Он склонил голову над пивом и что-то шептал. Он был сильно пьян. Вдруг он поднял голову и крикнул нам:

— Эй, вы! Черное море, понятно?.. Севастополь, да? Торпедный катер...

И снова уронил голову на грудь. Из глубины его груди доносилось глухое ворчанье.

— Официант! — сказал мой сотрапезник. — Нельзя ли

удалить этого человека? — Он показал не на меня, а на пьяного. — Во избежание эксцессов.

— Пусть сидит, — сказал официант. — Что он вам, мешает?

— Черное море... — проворчал человек, — торпедный катер... а может, преувеличиваю...

— Вы в самом деле считаете себя потомком марсиан? — спросил я своего сотрапезника.

— А что? Не исключена такая возможность, — кратко сказал Он.

— Марсиане симпатичные ребята, — сказал я. — У них все нормально, как у всех людей: руки, ноги, сердце с левой стороны... А вы же...

— Стой, — сказал Он, — еще раз говорю: вы мне аппетита не испортите, не старайтесь. Я ведь и сам заплатить могу.

Я перевел разговор на другую тему, и все было сглажено в несколько минут, и обед пошел дальше в блистательном порхании улыбок и в шутках. Вот Он каким стал, просто молодец, железные нервы.

— Да что это мы все так — «вы» да «вы», — сказал я, — даже не познакомились.

Я назвал свое имя и привстал с протянутой рукой. Он тоже привстал и назвал свое имя.

Того звали иначе. Это был не Он, это был другой человек.

Подали сладкое.



ПАПА, СЛОЖИ!

Высокий мужчина в яркой рубашке навывпуск стоял на солнцепеке и смотрел в небо, туда, где за зданием гостиницы «Украина» накапливалась густая мрачноватая синева.

«В Филях, наверное, уже льет», — думал он.

В Филях, должно быть, все развезло. Люди бегут по изрытой бульдозерами земле, прячутся во временках, под деревьями, под навесами киосков. Оттуда на Белорусский вокзал приходят мокрые электрички, а сухие с Белорусского уходят туда и попадают под ливень и сквозь ливень летят дальше, в Жаворонки, в Голицыно, в Звенигород, где

по оврагам текут ручьи, пахнет мокрыми соснами и белые дерквы стоят на холмах. Ему вдруг захотелось быть где-нибудь там, закутать Ольку в пиджак, взять ее на руки и бежать под дождем к станции.

«Только бы до Лужников не докатилось», — думал он.

Сам он любил играть под дождем, когда мокрый мяч летит на тебя, словно тяжелое пушечное ядро, и тут уже не до шуток и не до пижонства, не поводишь, стараешься играть в пас, стараешься играть точно, а ребята дышат вокруг, тяжелые и мокрые, идет тяжелая и спешная работа, как на корабле во время аврала, но на трибунах лучше сидеть под солнышком и смастерить себе из газеты шляпу.

Он оглянулся и позвал:

— Ольга!

Девочка лет шести прыгала в разножку по «классикам» в тени большого дома. Услышав голос отца, она подбежала к нему и взяла за руку. Она была послушной. Они вошли под тент летней закусочной, которая так и называлась — «Лето». Мужчина еще раз оглянулся на тучу.

«Может быть, и пройдет мимо стадиона», — прикинул он.

— Пэ, — сказала девочка, — рэ, и, нэ, о, сэ, и, тэ, мягкий знак...

Она читала объявление.

Под тентом было, пожалуй, еще жарче, чем на улице. Розовые лица посетителей, сидящих у наружного барьера, отсвечивали на солнце. Отчетливо блестели капельки пота на лицах. Страшно было смотреть, как люди едят горячие супы, а им еще подносили трескучие шашлыки.

— Сэ, — продолжала девочка, — и опять сэ, о... Папа, сложи!

Отец обратил внимание на объявление, на котором было написано: «Приносить с собой и распивать спиртные напитки строго воспрещается». Он давно уже привык к этим объявлениям и не обращал на них внимания.

— Что там написано? — спросила девочка.

— Чепуха, — усмехнулся он.

— Разве чепуху пишут печатными буквами? — усомнилась она.

— Бывает.

Он пошел в дальний тенистый угол, где сидели его приятели. Там пили холодное пиво. Девочка шла рядом с ним, белобрысенькая девочка в синей матроске и аккуратной плиссированной юбочке, с капроновыми бантиками в косичках, а на ногах белые носочки. Вся она была очень воскресной и чистенькой, такой примерно-показательный ребенок, вроде тех, которые нарисованы на стенах микроавтобусов — «Знают наши малыши: консервы эти хороши». Ее не приходилось тянуть, она не гладела по сторонам, а спокойно шла за своим папой.

Ее папа был когда-то спортсменом и кумиром трех близлежащих улиц. Когда он весенним вечером возвращался с тренировки, на всех трех близлежащих улицах ребята выходили из подворотен и приветствовали его, а девочки бросали на него взволнованные взгляды. Даже самые заядлые «ханурики» почтительно поднимали кепки, а подполковник в отставке Коломейцев, который без футбола не представлял себе жизни, останавливал его и говорил: «Слышал, что растешь. Расти!» А он шел, в серой кепочке «букле», в синем мантиле, в каких ходила вся их команда — дубль мастеров, шел особой развинченной футбольной походкой, которая вырабатывается не от чего-нибудь, а просто от усталости (только пижоны нарочно вырабатывают себе такую походку), и улыбался мягкой от усталости улыбкой, и все в нем цело от молодости и от спортивной усталости.

Это было еще до рождения Ольги, и она, понятно, этого еще не знает, но для него-то эти шесть лет прошли словно шесть дней. К тому времени, к ее рождению, он уже перестал «расти», но все еще играл. Летом футбол, зимой хоккей, вот и все. С поля на скамью запасных, а потом и на трибуны, но все равно — летом футбол, зимой хоккей... Шесть летних сезонов и шесть зимних...

Ну и что? Чем плохо? Отстань и не лезь в чужую жизнь. Межсезонье, осень, весна — периоды тренировок, знаем мы эти байки... Телевизор — ну его к черту! А что у тебя есть еще? Приветик, у меня есть жена. Жена? Ты говоришь, что у тебя в постели есть женщина? Я говорю, что у меня есть жена. Семья, понял? Жена и дочка. О, даже дочка! Даже о дочке ты вспомнил. Слушай, ты там полегче, а то нарвешься. Футбол, хоккей... Тебе не надоело? Господи, разве спорт может надоест? И потом, еще у меня есть завод. А он тебе не надоел? Стоп, на

завод посторонним вход воспрещен. И потом, ты там ничего не поймешь. Тебе бы только глазеть на небо и разводить кисель на молоке. Тебя к нашим станкам на сто метров нельзя подпускать. Итак, завод и футбол, да? Слушай, сколько раз можно повторять: жена, дочка... Ах, да! Я те дам «ах да». Семью обеспечиваю, понял? Полторы бумаги в месяц, а премиальные? Я, между прочим, рационализатор. Знаю, у тебя неплохая башка. То-то. У меня друзей, между прочим, полно. Вон они сидят — Петька Струков и Ильдар, Владик, Женечка, Игорь, Зямка, Петька-второй тоже — все здесь. Сдвинули два столика. Насорили рачьими клешнями, и лужи уже на столе. Гопкомпания. Все одногодки. А сколько вам лет? Э-э, мы все с двадцать девятого. А сколько вам лет? Ну, сколько, считать не умеешь? Тридцать два, стало быть.

— Это что, Серега, твоя пацанка? — спросил Петька-второй. Все с любопытством уставились на девочку.

— Ага.

Он сел на подставленный ему стул и посадил девочку на колени. Ей было неудобно, но она сидела смирно.

— Сиди тихо, Олюсь, сейчас получишь конфетку.

Ему подвинули кружку пива и тарелку раков, а девочке он заказал лимонаду и двести граммов конфет «Нюка, отними». Друзья смотрели на него с огромным любопытством. Они впервые видели его с дочкой.

— Понимаешь, у Алки сегодня конференция, — объяснил он Петьке Струкову.

— В воскресенье? — удивился Игорь.

— Вечно у них конференции, у помощников смерти, — усмехнулся Сергей и добавил чуть ли не виновато: — А теща в гости уехала, вот и приходится...

Он показал глазами на голову девочки. Волосики у нее были разделены посередине ниточкой пробора.

— Пей пиво, — сказал Ильдар, — холодное...

Сергей поднял кружку, обвел глазами друзей и усмехнулся, наклонив голову, скрывая теплоту. Он любил свою гопкомпанию и каждого в отдельности и знал, что они его тоже любят. Его любили как-то по-особенному, наверное потому, что когда-то он был среди всех самым «растущим», он рос на глазах, он играл за дублеров. У него были хорошие физические данные и сильный удар, и он поле видел. И женился он по праву на самой красивой из их девочек.

Сергей держался своих друзей. Только среди них он чувствовал себя таким, как шесть лет назад. Все они прочно держались друг друга, и посторонние не допускались. Словно связанные тайной порукой, они несли в тесном кругу свои юношеские вкусы и привычки, тащили все вместе в неведомое будущее кусочек времени, которое уже прошло. Манера носить кепки и кое-какие слова, футбол, хоккей, яркие ковбойки и вечера в парке, когда Ильдар играет на гитаре и поет «Ты меня не любишь, не жалеешь...». Жизнь шла своим чередом, нападающие и защитники женились, переходили в запас, становились болельщиками, у них рождались дети, но дети, жены и весь быт были где-то за невидимой чертой той мужской московской жизни, в которой опоздавшие бегут от метро к стадиону словно в атаку, а на трибунах волнение, и всех охватывает огромное весеннее чувство солидарности. Они не понимали, почему это их девочки (те самые болельщицы и партнерши по танцам) стали такими занудами. Они играли в цеховых командах и за пивом вспоминали о том времени, когда они играли в заводских командах и как кого-то из них приглашали в дубль мастеров, а Серега уже играл за дубль и мог бы выйти в основной состав, если бы не Алка. Это все они, Алки, Нинки, Тамарки, зануды...

— Папа, не надо отламывать ему голову, — сказала девочка.

Сергей вздрогнул и заглянул в ее внимательные и строгие голубые глаза, Алкины глаза. Он опустил руку с красным красавцем раком. Этот голубой взгляд, внимательный и строгий. Восемь лет назад он остановил его: «Убери руки и приходи ко мне трезвый». Такой взгляд. Можно, конечно, трепаться с ребятами о том, как надоела «старуха», а может быть, она и действительно надоела, потому что нет-нет, а вдруг тебе хочется познакомиться с какой-нибудь девочкой с сорокового года, пловчихой или гимнасткой, и ты знакомишься, бывает, но этот взгляд...

— И ноги ему не выдерживай.

— Почему? — пробормотал он растерянно, как тогда.

— Потому что он как живой.

Он положил рака на стол.

— А что же мне с ним делать?

— Дай мне его.

Оля взяла рака и завернула его в носовой платок.

Вокруг грохотали приятели.

— Ну и пацанка у тебя, Сергей! Вот это да!

— Ты любишь рака, Оленька? — спросил Зямка, у которого не было детей.

— Да, — сказала девочка. — Он задом ходит.

— О-хо-хо! О-хо-хо! — изнемогали соседние столики. — Вот ведь умница! Умница!

— А ну-ка, замолчали! — прикрикнул Петька Струков, и соседние столики замолчали.

Ильдар вынул таблицу чемпионата и расстелил ее на столе, и все склонились над таблицей и стали говорить о команде, о той команде, которая, по их расчетам, должна была выиграть чемпионат, но почему-то плелась в середине таблицы. Они болели за эту команду, но болели не так, как обычно болеют несведущие фанатики, выбирающие своего фаворита по каким-то непонятным соображениям. Нет, просто их команда — это была Команда с большой буквы, это было то, что, по их мнению, больше всего соответствовало высокому понятию «футбольная команда». На трибунах они не топали ногами, не свистели и не кричали при неудачах: «Меньше водки надо пить!», потому что они знали, как все это бывает, ведь «пшенку» может выдать любой самый классный вратарь: мяч — круглый, а команда — это не механизм, а одиннадцать разных парней.

Вдруг с улицы из раскаленного добела дня вошел в закусочную человек в светлом пиджаке и темном галстуке. Вячеслав Сорокин. Его появление шумно приветствовали:

— Привет, — Слава!

— С приездом, Слава!

— Ну как Ленинград, Слава?

— Город-музей, — коротко ответил Сорокин и стал всем пожимать руки, никого не обошел.

— Здравствуй, Олюсь! — сказал он дочке Сергея и ей пожал руку.

— Здравствуйте, дядя Вяча! — сказала она.

«Откуда она знает, как его зовут?» — подумал Сергей.

Сорокину подвинули пиво. Он пил и рассказывал о Ленинграде, куда он ездил на родственное предприятие с делегацией по обмену опытом.

— Удивительные архитектурные ансамбли, творения

Растрелли, Росси, Казакова, Кваренги... — торопливо выкладывал он.

«Успел уже и там культуры нахвататься», — подумал Сергей.

Он тоже был в Ленинграде, когда играл за дублеров, и Ленинград волновал его, как любой незнакомый город, таящий в себе невесть что. Но он тогда был режимным парнем и мало что себе позволял. Не успел культуры похватать и даже не познакомился ни с кем.

— ...колонны дорические, конические, готические, калифорнийские... — выкладывал Сорокин.

— Молчу, молчу... — сказал Сергей, и все засмеялись.

Сорокин сделал вид, что не обиделся. Щелчками он сбил со стола на асфальт останки рака и придвинулся к таблице. Он прикурил у Женечки и сказал, что, по его мнению, Команда сегодня проиграет.

— Выиграет, — сказал Сергей.

— Да нет же, Сережа, — мягко сказал Сорокин и посмотрел ему в глаза, — сегодня им не выиграть. Есть законы игры, теории, расчет...

— Ни черта ты в игре не понимаешь, Вяча, — холодно усмехнулся Сергей.

— Я не понимаю? — сразу завелся Сорокин. — Я книги читаю!

— Книги! Ребята, слышите, Вяча наш книги читает! Вот он какой, наш Вяча!

Сорокин сразу взял себя в руки и пригладил свои нежные редкие волосы. Он улыбнулся Сергею так, словно жалел его.

«Да, я не люблю, когда меня зовут Вячей, — казалось, говорила его улыбка, — но так называешь меня только ты, Сергей, и у тебя ничего не получится, не будут ребята называть меня Вячей, а будут звать Славой, Славиком, как и раньше. Да, Сергей, ты играл за дублеров, но ведь сейчас ты уже не играешь. Да, ты женился на самой красивой из наших девочек, но...»

Сергей тоже сдержался.

«Спокойно, — думал он. — Как-нибудь друзья».

Но что делать, если друг иногда смотрит на тебя таким взглядом, что хочется плеснуть ему опивками в физиономию!

Сергей поднял голову. Брезентовый тент колыхался, словно сверху лежал кто-то пухлый и ворочался там с боку

на бок. Помещение уже было набито битком. Сидевший за соседним столиком сумрачный человек в кепке-восьмиклинке тяжело поставил кружку на стол, сдвинул кепку на затылок и заговорил, ни к кому не обращаясь:

— Сам я приезжий, понял?.. Не здешний... Женщина у меня здесь, в Москве, баба... Короче — живу с ней. Все!

Он стукнул кулаком по столу, надвинул кепку и замолчал, видимо, надолго.

Сергей вытер пот со лба — здесь становилось невыносимо жарко. Сорокин перегнулся через стол и шепнул ему:

— Сережа, выведи отсюда девочку, пусть поиграет в сквере.

— Не твое дело, — шепнул ему Сергей в ответ.

Сорокин откинулся и опять улыбнулся так, словно жалел его.

Потом он встал и одернул пиджак.

— Извините, ребята, я пошел.

— На стадион приедешь? — спросил Петька.

— К сожалению, не смогу. Надо заниматься.

— В воскресенье? — удивился Игорь.

— Что поделаешь, экзамены на носу.

— За какой ты курс сейчас сдаешь, Славка? — спросил Женечка.

— За третий, — ответил Сорокин.

— Ну, пока, — сказал он.

— Общий привет! — помахал он сжатыми ладонями.

— Олюсь, держи! — улыбнулся он и протянул девочке шоколадку.

— Э, подожди, — окликнул его Зямка, — мы все идем. Здесь становится жарко.

Все встали и тесной гурьбой вышли на раскаленную добела улицу. Асфальт пружинил под ногами, как пенопластиковый коврик. Туча не сдвинулась с места. Она по-прежнему темнела за высотным зданием и была похожа на чистое лицо всех невзгод. Она вызывала прилив мужества.

— А ты на стадион поедешь? — примирительно обратился к Сергею Сорокин.

— А что ты думаешь, я пропущу такой футбол?

— Ничего я не думаю, — устало сказал Сорокин.

— Ну, не думаешь, так и молчи.

Сорокин перебежал улицу и сел в автобус, а все остальные медленно пошли по теневой стороне, тихо разговаривая и посмеиваясь. Обычно они выходили с шумом-гамом, Зямка рассказывал анекдоты, Ильдар играл на гитаре, но сейчас среди них была маленькая девочка и они не знали, как себя вести.

— Куда мы идем? — спросил Сергей.

— Потянемся потихоньку на стадион, — сказал Игорь. — Посмотрим пока баскет на малой арене, там женский полуфинал.

— Папа, можно тебя на минуточку? — сказала Оля.

Сергей остановился, удивленный тем, что она говорит совсем как взрослая. Друзья пошли вперед.

— Я думала, мы пойдем в парк, — сказала девочка.

— Мы пойдем на стадион. Там тоже парк, знаешь, деревья, киоски...

— А карусель?

— Нет, этого там нет, но зато...

— Я хочу в парк.

— Ты неправа, Ольга, — сдерживаясь, сказал он.

— Не хочу я идти с этими дядями, — совсем раскапризничалась она.

— Ты неправа, — тупо повторил он.

— Мама обещала покатать меня на карусели.

— Ну пусть мама тебя и катает, — с раздражением сказал Сергей и оглянулся.

Ребята остановились на углу.

У Оли сморщилось личико.

— Она же не виновата, что у нее конференция.

— Мальчики! — крикнул Сергей. — Идите без меня! Я приеду к матчу!

Он взял Олю за руку и дернул:

— Пойдем быстрее.

«Конференция, конференция, — думал он на ходу, — вечные эти конференции. И теща сегодня уехала. Веселое воскресенье. Чего доброго, Алка станет кандидатом наук. Тогда держись. Она и сейчас тебя в грош не ставит».

Он шел быстрыми шагами, а девочка, не поспевая, бежала рядом. В правой руке она держала завернутого в платочек рака. Из ее кулачка, словно антенны маленького приемника, торчали рачьи усы. Она бежала, веселая, и читала вслух буквы, которые видела:

- Тэ, кэ, а, нэ, и... Пап!
- Ткани! — сквозь зубы бросал Сергей.
- Мясо!
- Галантерея!

Кандидат наук и бывший футболист-неудачник, имя которого помнят только самые старые пройдохи на трибунах. Человек сто из ста тысяч. Да-да, да, был такой, ага, помню, быстро сошел... А кто виноват, что он не стал таким, как Нетте, что она тогда не поехала в Сирию, что он... Уважаемый кандидат, ученая женщина, красавица... Ах ты, красавица... Ей уже не о чем с ним говорить. Но ночью-то находится общий язык, а днем пусть она говорит с кем-нибудь другим, с Сорокиным например, он ей расскажет про Кваренги и про всех остальных и про колонны там разные — все выложит в два счета. Ты разменял четвертую десятку. А, ты опять заговорил? Ты сейчас тратишь четвертую. На что? Отстань! Кончился спорт, кончается любовь... О, любовь! Что мне стоит найти девочку с сорокового года, пловчиху какую-нибудь... Я не об этом. Отстань! Слушай, отстань!

В парке они катались на каруселях, сидели рядом верхом на двух серых конях в синих яблоках. Сергей держал дочку. Она хохотала, заливалась смехом, положила рака коню между ушей.

— И рак катается! — кричала она, закидывая головку.

Сергей хмуро улыбался. Вдруг он заметил главного технолога со своего завода. Тот стоял в очереди на карусель и держал за руку мальчика. Он поклонился Сергею и приподнял шляпу. Сергея покорила эта общность с главным технологом, ожиревшим и скучным человеком.

— Дочка? — крикнул главный технолог.

«Располным-полна коробочка, есть и ситец и парча...»

— Сын? — крикнул Сергей на следующем кругу.

«Пожалей, душа-зазнобушка, молодецкого...»

Главный технолог кивнул несколько раз.

«...пле... еча!»

— Да-да, сын! — крикнул главный технолог.

Ну и пластиночки крутят на карусели! Нет, он все-таки симпатичный, главный технолог.

Оля долго не могла забыть блистательного кружения на карусели.

— Папа, папа, расскажем маме, как рак катался?

— Слушай, Ольга, откуда ты знаешь дядю Вячу? — неожиданно для себя спросил Сергей.

— Мы его часто встречаем с мамой, когда идем на работу. Он очень веселый.

«Ах, вот как, он, оказывается, еще и веселый, — подумал Сергей. — Вяча — весельчак. Значит, он снова начал крутить свои финты. Ох, напросится он у меня».

Он оставил Ольгу на скамейке, а сам вошел в телефонную будку и стал звонить в этот мудрейший институт, где шла эта мудрая конференция. Он надеялся, что конференция кончилась, и тогда он отвезет дочку домой, сдаст ее Алке, а сам поедет на стадион, а потом проведет весь вечер с ребятами. Ильдар будет петь:

Ты меня не любишь, не жалеешь,
Разве я немного не красив?
Не смотря в лицо, от страсти млеешь,
Мне на плечи руки опустив...

В трубке долго стонали длинные гудки, наконец они оборвались и старческий голос сказал:

— Алё!

— Кончилась там ваша хитрая конференция? — спросил Сергей.

— Какая такая конференция? — прошамкала трубка. — Сегодня воскресенье...

— Это институт? — крикнул Сергей.

— Ну, институт...

Сергей вышел из будки. Воздух струился, будто плавился от жары. По аллее шел толстый распаренный человек в шелковой «бобочке» с широкими рукавами. Он устало отмахивался от мух. Мухи упорно летели за ним, кружили над его головой, он им, видимо, нравился.

«Та-ак», — подумал Сергей, и у него вдруг чуть не подогнулись ноги от неожиданного, как толчок в спину, страха. Он побежал было из парка, но вспомнил об Ольге. Она сидела в тени на скамеечке и водила рака.

— «Даже раки, даже раки, уж такие забияки, тоже пятятся назад и усами шевелят», — приговаривала она. «Способная девочка, — подумал Сергей. — В мамочку».

Он схватил ее за руку и потащил. Она верещала и показывала ему рака.

— Папа, он такой умный, он почти стал как живой!

Сергей остановился, вырвал у нее рака, переломил его пополам и выбросил в кусты.

— Раками не играют, — сказал он, — их едят. Они идут под пиво.

Девочка сразу заплакала в три ручья и отказалась идти. Он подхватил ее на руки и побежал.

Выскочил из парка. Сразу подвернулось такси. В горячей безвоздушной тишине промелькнула внизу Москва-река, похожая на широкую полосу серебряной фольги, открылась впереди другая река, асфальтовая, река под названием Садовое кольцо, по которому ему лететь, торопиться, догонять свое несчастье. Девочка сидела у него на руках. Она перестала плакать и улыбалась. Ее захватила скорость. В лицо ей летели буквы с афиш, вывесок, плакатов, реклам. Все буквы, которые она выучила, и десять тысяч других, красных, синих, зеленых, летели ей навстречу, все буквы одиннадцати планет солнечной системы.

— Пэ, жэ, о, рэ, мягкий знак, жэ, пэ, рэ, жэ, у, е, жэ... Папа, сложи!

«ПЖОРЬЖЛРЖУЕЖ», — пронеслось в голове у Сергея. — Почему так много «ж»? Жажда, жестокость, жара, женщина, жираф, желоб, жуть, жир, жизнь, желток, желоб... «Папа, сложи!» Попробуй-ка тут сложи на такой скорости».

— У тебя задний мост стучит, — сказал он шоферу и оставил ему сверх счетчика тридцать копеек.

Он вбежал в свой дом, через три ступеньки запрыгал по лестнице, открыл дверь и ворвался в свою квартиру. Пусто. Жарко. Чисто. Сергей огляделся, закурил, и эта его собственная двухкомнатная квартира показалась ему чужой, настолько чужой, что вот сейчас из другой комнаты может вдруг выйти совершенно незнакомый человек, не имеющий отношения ни к кому на свете. Ему стало не по себе, и он тряхнул головой.

«Может, путаница какая-нибудь?» — подумал он с облегчением и включил телевизор, чтобы узнать, начался ли матч.

Телевизор тихо загудел, потом послышалось гудение трибун, и по характеру этого гудения он сразу понял, что идет разминка.

«Она может быть у Тamarки или у Галины», — подумал он.

Спускаясь по лестнице, он убеждал себя, что у Тamarки или у Галины, и уговаривал себя не звонить. Все же он подошел к автомату и позвонил. Ни у Тamarки, ни у Галины ее не было. Он вышел из автомата. Солнце жгло плечи. Ольга прямо на солнцепеке прыгала в разножку по «классикам». Возле гастронома стояли два «ханурика» из дома № 16, молчаливые и спокойные. Они заложили руки за борта пиджаков и перебирали высунутыми наружу двумя пальцами. Искали, стало быть, третьего в свою капеллу.

Девочка подошла и взяла его за руку.

— Папа, куда мы пойдём теперь?

— Куда хочешь, — ответил он, — пошли куда-нибудь.

Они медленно пошли по солнечной стороне, потом он догадался перейти на другую сторону.

— Почему ты растерзал рака? — строго спросила Оля.

— Хочешь мороженого? — спросил он.

— А ты?

— Я хочу.

Переулками они вышли на Арбат прямо к кафе.

В кафе было прохладно и полутемно. Над столиками во всю стену тянулось зеркало. Сергей смотрел в зеркало, как он идет по кафе, и какое у него красное лицо, и какие уже большие залысины. Ольги в зеркале видно не было, не доросла еще.

— А вам, гражданин, уже хватит, — сказала официантка, проходя мимо их столика.

— Мороженого дайте! — крикнул он ей вслед.

Она подошла и увидела, что мужчина вовсе не пьян, просто у него лицо красное, а глаза блуждают не от водки, а от каких-то других причин.

Оля ела мороженое и болтала ножками. Сергей тоже ел, не замечая вкуса, чувствуя только холод во рту.

Рядом сидела парочка. Молодой человек с шевелюрой, похожей на папаху, в чем-то убеждал девушку, уговаривал ее.

— Не ликвидация, а реорганизация, — говорил он.

Девушка смотрела на него круглыми глазами.

— Перепрофилирование, — с мольбой произнес он.

Она потупилась, а он придвинулся ближе и забубнил. Видно было, как коснулись их колени.

— Бу-бу-бу, — бубнил он, — перспектива роста, бу-бу-бу, но зато перспектива, бу-бу-бу, ты понимаешь?

Она кивнула, они встали и ушли, чуть пошатываясь.

— Хочешь черепаху, дочка? — спросил Сергей.

Оля вздрогнула и даже вытянула шейку.

— Как это — черепаху? — осторожно спросила она.

— Элементарную живую черепаху. Здесь недалеко зоомагазин. Сейчас пойдем и выберем тебе первоклассную черепаху.

— Пойдем быстрее, а?

Они встали и пошли к выходу. В гардеробе приглушенно верещал радиокomentатор и слышался далекий, как море, рев стадиона. Сергей хотел было пройти мимо, но не удержался и спросил у гардеробщика, как дела.

Заканчивался первый тайм. Команда проигрывала.

Они вышли на Арбат. Прохожих было мало, и машин тоже немного. Все в такие дни за городом. Через улицу шел удивительно высокий школьник. В расстегнутом сером кителе, узкоплечий и весь очень тонкий, красивый и веселый, он обещал вырасти в атлета, в центра сборной баскетбольной команды страны. Сергей долго провожал его глазами, ему было приятно смотреть, как вышагивает эта верста, как плывет высоко над толпой красивая, модно стриженная голова.

В зоомагазине Оля поначалу растерялась. Здесь были птицы, голуби и зеленые попугаи, чижи, канарейки. Здесь были аквариумы, в которых словно металлическая пыль серебрились мельчайшие рыбки. И наконец, здесь был застекленный грот, в котором находились черепахи. Грот был поздраватый, сделанный из гипса и покрашенный серой краской. На дне его, устланном травой, лежало множество маленьких черепах. Они лежали вплотную друг к другу и не шевелились даже, они были похожи на булыжную мостовую. Они хранили молчание и терпеливо ждали своей участи. Может быть, они лежали скованные страхом, утратив веру в свои панцири, не ведая того, что их здесь не едят, что они не идут под пиво, что здесь их постепенно всех разберут веселые маленькие дети и у них начнется довольно сносная, хотя и одинокая жизнь. Наконец, одна из них высунула из-под панциря головку, забралась на свою соседку и поплелась прямо по спинам своих неподвижных сестер. Куда она ползла и зачем, она, наверное, и сама этого не знала, но она все ползла и ползла и этим понравилась Оле больше других.

Папа действительно купил эту черепаху, и ее вытащили из грота, положили в картонную коробку с дырочками, напихали туда травы.

— Что она ест? — спросил папа у продавщицы.

— Траву, — сказала продавщица.

— А зимой чем ее кормить? — поинтересовался папа.

— Сеном, — ответила продавщица.

— Значит, на сенокос надо ехать, — пошутил папа.

— Что? — спросила продавщица.

— Значит, надо, говорю, ехать на сенокос, — повторил свою шутку папа.

Продавщица почему-то обиделась и отвернулась.

Когда они вышли на улицу, начался второй тайм. Почти из всех окон были слышны крики, это шел репортаж. Оля несла коробку с черепахой и заглядывала в дырочки. Там было темно, слышалось слабое шуршание.

— Она долго будет живой? — спросила Оля.

— Говорят, они живут триста лет, — сказал Сергей.

— А нашей сколько лет, папа?

Сергей заглянул в коробку.

— Наша еще молодая. Ей восемьдесят лет. Совсем девочка.

Рев из ближайшего окна возвестил о том, что команда сравняла счет.

— А мы сколько живем? — спросила девочка.

— Кто — мы?

— Ну, мы, люди...

— Мы меньше, — усмехнулся Сергей, — семьдесят лет или сто.

Ох, какая там, видно, шла драка! Комментатор кричал так, словно разваливался на сто кусков.

— А что потом? — спросила Оля.

Сергей остановился и посмотрел на нее. Она своими синими глазами смотрела на него пытливо, как Алка. Он купил в киоске сигареты и ответил ей:

— Потом суп с котом.

Оля засмеялась.

— С котом! Суп с котом! Папа, а сейчас мы куда поедем?

— Давай поедем на Ленинские горы, — предложил он.

— Идет!

Солнце спряталось за университет и кое-где пробивало

его своими лучами насквозь. Сергей поднял дочку и посадил ее на парашют.

— Ой, как красиво! — воскликнула девочка.

Внизу по реке шел прогулочный теплоход. Тень Ленинских гор разделила реку пополам. Одна половина ее еще блестела на солнце. На другом берегу реки лежала чапа большой спортивной арены. Поля не было видно. Видны были верхние ряды восточной стороны, до отказа заполненные людьми. Доносились голоса дикторов, но слов разобрать было нельзя. Дальше был парк, аллеи и Москва, Москва, необозримая, горящая на солнце миллионом окон. Там, в Москве, его дом, тридцать пять квадратных метров, там на всех углах расставлены телефонные будки, в каждой из которых можно узнать об опасности, в каждой из которых может заколотиться сердце и подогнуться ноги, в каждой из которых можно, наконец, успокоиться. Там, в Москве, все его тридцать два года тихонько разгуливают по улицам, аукаясь и не находя друг друга. Там, в Москве, красавиц полно, сотни тысяч красавиц. Там мудрые институты ведут исследовательскую работу, там люди идут на повышение. Там его спокойствие возле станка, там его завод. Там его спокойствие и тревоги, его весенняя любовь, которая кончилась. Там его молодость, которая прошла, как веселый неизменно высокий школьник, по тренировочным залам и стадионам, по партам и пивным, танцплощадкам, по подъездам, по поделуям, по музыке в парке... Там все, что с ним еще будет. А что потом? Суп с котом.

Сергей держал девочку за руку и чувствовал, как бьется ее пульс. Он посмотрел сбоку на ее лицо, на задранный носик, на открытый рот, в котором, как бусинки, блестели зубы, и ему вдруг стало радостно, и отлегли все печали, потому что он подумал о том, как его дочка будет расти, как ей будет восемь лет и четырнадцать, потом шестнадцать, восемнадцать, двадцать... как она поедет в пионерлагерь и вернется оттуда, как он научит ее плавать, какая она будет модница и как будет целоваться в подъезде с каким-нибудь стилигой, как он будет кричать на нее и как они вместе когда-нибудь куда-нибудь поедут, может быть к морю.

Оля водила пальцем в воздухе, писала в воздухе какие-то буквы.

— Папа, угадай, что я пишу.

Он смотрел, как над стадионом и над всей Москвой двигался палец девочки.

— Не знаю, — сказал он. — Не могу понять.

— Да ну тебя, папка! Вот смотри!

И она стала писать на его руке:

— О-л-я, п-а-п-а...

Мощный рев, похожий на взрыв, долетел со стадиона. Сергей понял, что Команда забила гол.

1962

АПЕЛЬСИНЫ ИЗ МАРОККО

ПОВЕСТЬ

ОТ АВТОРА

Предлагаемая вниманию читателей повесть «Апельсины из Марокко» впервые увидела свет на страницах журнала «Юность» в январе 1963 года.

Мне давно хотелось написать повесть о Дальнем Востоке. В свое время я жил там, два года учился в средней школе г. Магадана, потом в разное время побывал в этом городе, проходил студенческую практику. Кроме того, пришлось мне бывать в Охотске, Якутске, Николаевске-на-Амуре, Хабаровске.

Декабрь 1961 года я вновь провел на Дальнем Востоке. На этот раз это был Сахалин.

Человеку, знавшему Дальний Восток времен культа личности, сейчас в первую очередь бросается в глаза то, что вместе со сторожевыми вышками лагерей исчезла в тех местах атмосфера мрачной настороженности; ныне селится в тех местах веселый, может быть несколько беспабашный, молодой народ, приезжающий из всех земель Союза.

Прямо скажем, жизнь в тех местах пока еще сильно отличается от жизни Черноморского побережья, но главное заключается в этой перемене настроения, в чувстве глубокого оптимизма, которое появляется, когда слышишь, как молодые новоселы говорят «наш город», «наша бухта», «наша трасса»...

Действие повести «Апельсины из Марокко» развивается на условном морском побережье, в вымышленных автором городах, портах, рыбокомбинатах, но я так ясно вижу эти места, что, будь я топографом, сопроводил бы повесть картой с пунктиром «апельсиновой» трассы.

После выхода повести в журнале вокруг нее разгорелась довольно сильная полемика в печати. Ясно, что отрицательная критика не вызывает у автора особенно приятных эмоций, и я с огорчением читал многие критические высказывания о своей книге,

Незримая полемика проходила и на страницах читательских писем, которых было очень много. Были письма резко критические, были и письма, положительно оценивающие повесть. Писали учителя, пенсионеры, инженеры, студенты, рабочие, военнослужащие. Поистине наш советский читатель — лучший в мире читатель! Беседы со многими западными литераторами убедили меня в том, что ни в одной стране мира невозможно такое массовое проявление заинтересованности в судьбе писателя, требовательности и добрых чувств. Естественно, что это ко многому обязывает.

Видимо, для того чтобы серьезно осмыслить многочисленные критические статьи и высказывания, мне нужно время. Сейчас я понимаю, что где-то меня захлестывала стихия новых языковых формаций и густота окружающей жизни.

Я не считаю, что критика начисто перечеркивает повесть, и поэтому решил включить ее в этот сборник.

В этом варианте я попытался резче индивидуализировать портреты героев за счет прочистки жаргона, а также отчетливее обозначить акценты, стертость которых вызывала разные толкования.



1

ВИКТОР КОЛТЫГА

В общем, лично мне это надоело... Артель «Напрасный труд». Мы пробурили этот живописный распадок в двух местах и сейчас бурили в третьем. Гиблое дело — нет здесь ее. Я это чувствую нюхом — как-никак пять лет уже шатаюсь в партиях, на Сахалине был возле Охи, и по Паронаю, и в устье Амура, и на Камчатке... Насмотрелся я на эти рельефы!

Ничего я не имею против этого распадка, здесь даже красиво; можно горно-лыжную базу построить, на западном склоне отличная трасса для слалома, воздух здесь хороший, а может, и грязи какие-нибудь есть для больных, вполне возможно. Целебный источник? Допускаю, стройте, пожалуйста, санаторий; боже ты мой, может, здесь и золото есть, может быть, этот чудный, живописный, лучший в мире распадок — настоящее золотое дно, может, золота здесь хватит на все отхожие места в коммунистическом обществе, но нефти здесь нет.

Понятно, я молчал и ничего не говорил Кичекьяну. И все ребята молчали. Кичекьян у нас человек новый, это его первая разведка. В этом году он окончил Ленинградский горный и приехал к нам сюда начальником партии. Сейчас он сильно психовал, и поэтому мы молчали. А хотелось сказать: «Знаешь что, Айрапет-джан (или как там у них говорят), надо собирать все хозяйство и сматываться отсюда. Знаешь, джан (вот именно, джан), наука наукой, а практика практикой». Но мы молчали, работали, консервы ели — наше дело маленькое.

В четыре часа наступила ночь, и верхушки сопок заблестели под луной, словно серебряные. Над кухней уже давно вился дымок, а по дну распадка шли наши сменщики, сигналили папиросками.

— Пошли обедать, товарищ начальник, — сказал я Кичекьяну, но он только помотал головой. Он сидел на ящике и кушал хлеб с маслом, вернее, не кушал, а, как говорится, подкреплял силы. Масло на морозе стало твердым, как мыло. Кичекьян отрезал толстые куски, клал их на хлеб и в таком виде наворачивал. По его худому и заросшему лицу ходили желваки. Он был маленький и тощий, он даже в ватнике и в ватных штанах казался, как бы это сказать... изящным. Временами он откладывал хлеб и масло, дышал на руки, а потом снова принимался за свое дело. Потом встал и заорал:

— Луна-а, плыви в ночном просторе, лучи купая в море...

Конечно, ему было нелегко здесь, как человеку южному.

Я тоже человек южный, из Краснодара, но за восемь лет (три года армии и пять лет на гражданке) я тут порядком акклиматизировался. Возможно, летом я поеду в отпуск и проведу его у матери в Краснодаре. Известно

каждому, что в Краснодаре самые красивые девочки в Союзе. Причем это не реклама, а если бы еще наших девочек приодеть получше, то всё: пришлось бы пустить в Краснодар еще несколько железных дорог, шоссе и построить международный аэропорт. Я часто думаю о Краснодаре и о краснодарских девочках, и мысли эти появляются в самые желтые дни. В пятьдесят девятом на Устье-Маёе, когда замело перевал и мы три дня лежали в палатке и на зубариках играли, я представлял себе, как я, отпускник, ранним летним утром гуляю себе по краснодарскому колхозному рынку, и грошей у меня полно, и есть не хочется, а впереди еще вечер, когда я пойду на танцплощадку, где тоненькие и рослые девочки устывают на меня — какой я стильный, и видно, что не дурак, и самостоятельный, — в общем, парень-гвоздь.

Сейчас, спускаясь к лагерю на дно распадка, я тоже думаю о Краснодаре, о женщинах, о горячих пляжах, об эстрадных концертах под открытым небом, о джазе Олега Лундстрема... Мне приятно думать, что все это есть, что на земном шаре имеется и еще кое-что кроме этого потрясающего, волшебного, вонючего распадка.

На кухне мы здорово наелись и сразу осоловели, захотели спать. Леня Базаревич, по своему обыкновению, отправился купаться, а мы влезли в палатку и, значит, водрузили свои тела на закрепленные за каждым койки.

Когда наша смена одновременно стаскивает валенки, тут хоть святых выноси. Свежему человеку впору надеть кислородную маску, но мы ничего, смирились, потому что стали вроде бы как братья.

Юра, Миша и Володя как бухнулись на свои плацкарты, так сразу и загудели, запели, засопели. Это они только настраивались. Потом началось! Когда они храпят, кажется, что работают три перфоратора. Причем комедия: как один перестанет храпеть, так и второй прекращает и третий — стоп! А по новой начинают тоже одновременно. Если бы я жил в капиталистической стране, я бы этих трех молодых людей зверски эксплуатировал: показывал бы их в цирке и заработал бы кучу фунтов стерлингов или лир.

Мне тоже хотелось спать, но надо было сделать еще одно дельце. Я зажег карманный фонарик и под его тусклый свет стал писать письмо одной краснодарской девочке, которая в этот момент, можешь себе представить,

находилась в каких-нибудь семидесяти четырех километрах от меня. Девчонку эту звали обыкновенно — Люся Кравченко. Познакомился я с ней прошлой весной, когда «Кильдин» привез сезонниц на рыбокомбинат. Обычно к приезду сезонниц все ребятишки в радиусе двухсот километров начинают наводить блеск на свою амуницию, стригутся под канадскую полечку и торопятся в порт Петрово на всех видах транспорта, а то и на своих на двоих. Еще бы, ведь для нас это сенсация — сразу двести или триста новых невест!

В тот раз тоже много парней понаехало в Петрово. Все гуляли по главной улице в ожидании парохода и делали вид, что попали сюда случайно, или по делам, или с похмелья. Однако все эти мудрецы оказались на причале, когда «Кильдин» стал швартоваться, и все смотрели, как невесты сходили по трапу, а потом повалили за ними на главную улицу, а к вечеру все «случайно» оказались на рыбокомбинате.

Там я и заприметил Люсю Кравченко. Ну, сделал два-три виража, а потом пошел на сближение. «Откуда, землячка?» — спрашиваю. Это у меня такой прием. А она вдруг — бац: «Из Краснодара». Каково? Даже врать не пришлось. Весь вечер мы с ней гуляли, и мне было грустно смотреть в ее черные глаза, а ее загорелые руки вызывали в моей памяти пионерский лагерь на Кубани и песенку «Джон-Грей, силач-повеса». И я думал о том, что мне уже двадцать шестой год, а у меня ни кола ни двора, и я весь вечер заливал ей про космические полеты и про относительность времени, а потом полез к ней обниматься. Ну, она мне врезала по шее.

Потом мы ушли в экспедицию, и в экспедиции я о ней не думал, а думал по обыкновению о краснодарских девчатах, но почему-то все краснодарские девчата на этот раз были похожи на Люсю. Просто сто тысяч Люсь-Кравченко смотрели на меня, когда я, стильный, умный и самостоятельный, царень-гвоздь, поднимался на танцплощадку в парке над Кубанью.

Осенью я ее встретил на вечере отдыха в Доме культуры моряков в порту Талый. Честно, я был удивлен. Оказалось, что она решила остаться на Дальнем Востоке, потому что здесь, дескать, сильнее ощущается трудовой пульс страны. Она работала каменщицей и жила в общежитии в поселке Шлакблоки. Ну, там, училась заочно

в строительном техникуме, ну, там, танцевала в хореографическом кружке — все как полагается. Она была расфуфырена черт знает как, и за ней увивались один морячок, по имени Гера, совсем молоденький парнишка, года так с сорок второго, и знаменитый «бич» (так на морских берегах называют тунейдцев) из Петровского порта по кличке Корень. Я им дал от ворот поворот. Весь вечер я рассказывал ей про Румынию, какой в Трансильвании виноград и какой скачок там сделала текстильная промышленность, и про писателя Михаила Садовяну. Потом я провожал ее в автобусе в эти знаменитые Шлакоблоки и смотрел искоса на ее профиль, и мне было грустно опять, а иногда я злился, когда она тоненько так улыбалась. Уж не знаю, из-за чего она здесь осталась — может быть, из-за трудового пульса страны, но ей, видно, было не очень противно смотреть, как все мужики, весь автобус, сворачивают себе шеи из-за нее.

Возле барака я ее нежно обнял. Ну, для порядка она мне врезала пару раз по шее. Ладонки у нее стали твердые за это время. Потом оказалось, что мне негде ночевать, и я всю ночь, как бобик, сидел на бревнах возле ее барака, а тут еще пошел мокрый снег, и я всем на смех подхватил воспаление легких. Месяц провалялся в Фосфатогорске в больнице, а потом ушел вот в эту знаменитую экспедицию под командованием «гениального ученого» Айрапета Кичекьяна.

Значит, надо было мне сделать еще одно дельце перед тем, как упасть на койку и тоненько, деликатно засвистеть в две ноздри в противовес этим трем перфораторам.

Я писал Люсе, что она, конечно, может меня презирать, но должна уважать как человека, а не собаку, и, поскольку у нас уже установились товарищеские отношения, пусть все-таки ответит на мои письма и сообщит об успехах.

Я написал это письмо, вложил в конверт и задумался. Боже ты мой, мне стало страшно, что жизнь моя вдруг пойдет под откос! Боже ты мой, а что, если в мире нет ничего, кроме этого распрекрасного распадка? Боже ты мой, а вдруг все, что было раньше в моей жизни, мне только снилось, пока я спал двадцать шесть лет на дне этого распадка, и вот сейчас я проснулся, и ковыряю его все это время уже третий раз, и ничего не нахожу, и так будет теперь всегда? Вдруг это какой-нибудь астероид,

затерянный в «одной из весьма отдаленных галактик», и диаметр у него семьдесят три километра, а на семьдесят четвертом километре вместо поселка Шлакоблоки — пропасть, обрыв в черное космическое пространство? Такое было со мной впервые. Я испугался. Я не знал, что со мной происходит, и не мог написать адреса на конверте.

Я прильнул к нашему маленькому окошечку, размером со школьную тетрадку, и увидел, что Ленька Базаревич все еще купается в серебристых снегах. Нагишом барахтается под луной, высовывает из снега свои голубые полные ноги. Ну и парень этот Базаревич, такой чудик! Он каждый день это проделывает и ходит по морозу без шапки и в одном только тонком китайском свитере. Он называет себя «моржом» и все время агитирует нас заняться этим милым спортом. Он говорит, что во многих странах есть ассоциации «моржей», и переписывается с таким же, как и он сам, психом из Чехословакии. У них с этим чехом вроде бы дружеское соревнование и обмен опытом. К примеру, тот пишет: «Дорогой советский друг! Вчера я прыгнул в прорубь и провел под водой полчаса. Выйдя из воды и как следует обледенев, я лег на снег и провел в нем час. Превратившись таким образом в снежную бабу, я медленно покатился по берегу реки в сторону Братиславы...» Конечно, получив такое письмо, наш Леня раздевается и бежит искать прорубь, чтобы дать чеху несколько очков вперед. Я сначала пугался, честно. Идешь в палатку, метель, пурга, и вдруг видишь: на снегу распростерто полное и волосатое тело.

Базаревич встал, потянулся, потер себе снегом уши и стал надевать штаны. Я написал на конверте адрес: «Поселок Шлакоблоки, Высоковольтная улица, фибролитовый барак № 7, общежитие строителей, Кравченко Л.».

Если она не ответит мне и на это письмо, то все — вычеркну тогда ее из своей личной жизни. Дам ей понять, что на ней свет клином не сошелся, что есть на свете город Краснодар, откуда я родом и куда я поеду летом в отпуск, и вовсе она не такой уж стопроцентный идеал, как воображает о себе, есть и у нее свои недостатки.

Вошел Базаревич и, увидев на табуретке конверт, спросил:

— Написал уже?

— Да, — сказал я, — поставил точки над «и».

Базаревич сел на свою койку и стал раздеваться. Он только и делал в свободное от работы время, что раздевался и одевался.

— Тонус потрясающий, Витька, — сказал он, массируя свои бицепсы. — Слушай, — сказал он, массируя мышцы брюшного пресса, — какая хоть она, твоя Люся? Твоя знаменитая Люсь-Кравченко?

— Да как тебе сказать, — ответил я, — ростом мне вот так, метр шестьдесят пять, пожалуй...

— Хороший женский рост, — кивнул он.

— Ну, здесь вот так, — показал я, — и здесь в порядке. В общем, параметры подходящие.

— Ага, — кивнул он.

— Но и не без недостатков принцесса, — с вызовом сказал я.

Базаревич вздохнул.

— А карточки у тебя нет?

— Есть, — сказал я, волнуясь. — Хочешь, покажу?

Я вытащил чемодан и достал оттуда вырезку из районной газеты. Там был снимок, на котором Люся в украинском костюме танцевала среди других девчат. И надпись гласила: «Славно трудятся и хорошо, культурно отдыхают девушки-строители. На снимке: выступление хореографического кружка».

— Вот эта, — показал я, — вторая слева.

Базаревич долго смотрел на снимок и вздыхал.

— Дурак ты, Витька, — наконец сказал он, — все у нее в порядке. Никаких недостатков. Полный порядок.

Он лег спать, и я выключил свой фонарик и тоже лег. В окошко был виден кусочек неба и мерцающий склон сопки. Не знаю, может, мне в детстве снились такие подернутые хрустящим и сверкающим настом сопки, во всяком случае, гора показалась мне в этот момент мешком деда-мороза. Я понял, что не усну, снова зажег фонарик и взял журнал. Я всегда беру с собой в экспедицию какой-нибудь журнал и изучаю его от корки до корки. Простлый раз это был журнал «Народная Румыния», а сейчас «Спортивные игры». В сотый раз, наверное, я читал статьи, разглядывал фотографии и разбирал схемы атак на ворота противника.

«Поспешность... Ошибка... Гол!»

«Как самому сделать клюшку».

«Скоро в путь и вновь в США, в Колорадо-Спрингс...»

«Как использовать численный перевес».

«Кухня Рэя Мейера».

«Японская подача».

Я, центральный нападающий Виктор Колтыга, разно-сторонний спортсмен и тренер не хуже Рэя Мейера из университета Де-Поль, я отправляюсь в путь и вновь в Колорадо-Спрингс, с клюшкой, сделанной своими руками... Хм... «Можно ли играть в очках?» Ага, оказывается, можно, — я в специальных, сделанных своими руками, очках прорываюсь вперед, короткая тактическая схема Колтыга — Понедельник — Месхи — Колтыга, вратарь проявляет поспешность, потом совершает ошибку, и я забиваю гол при помощи замечательной японской подачи. И Люси Кравченко в национальном финском костюме подъезжает ко мне на коньках с букетом кубанских тюльпанов.

Разбудили нас Чудаков и Евдошук. Они, как были, в шапках и тулупах, грохотали сапогами по настилу, вытаскивали свои чемоданы и орали:

— Подъем!

— Подъем, хлопцы!

— Царствие небесное проспите, ребята!

Не понимая, что происходит, но понимая, что какое-то ЧП, мы сели на койках и уставились на этих двух безобразно орущих людей.

— Зарплату, что ли, привез, орел? — спросил Евдошук Володя.

— Фигушки, — ответил Евдошук, — зарплату строителям выдали.

В Фосфатогорске всегда так: сначала выплачивают строителям, а когда те все проедят и пропьют и деньги снова поступят в казну, тогда уж нам. Перпетуум-мобиле. Чего ж они тогда шум такой подняли, Чудаков с Евдошук?

— Ленту, что ли, привезли? — спросил я. — Опять «Девушку с гитарой»?

— Как же, ленту, дожидайся! — ответил Чудаков.

— Компот, что ли? — спросил Базаревич.

— Мальчики! — сказал Чудаков и поднял руку.

Мы все уставились на него.

— Быстренько, мальчики, подымайтесь и вынимайте из загашников гроши. В Талый пришел «Кильдин» и привез апельсины.

— На-ка, разогни, — сказал я и протянул Чудакову согнутый палец.

— Может, ананасы? — засмеялся Володя.

— Может, бананы? — ухмыльнулся Миша.

— Может, кокосовые орехи? — грохотал Юра.

— Может, бабушкины пироги привез «Кильдин», — спросил Леня, — тепленькие еще, да? Подарочки с материка?

И тогда Евдошук снял тулуп, потом расстегнул ватник, и мы заметили, что у него под рубашкой с правой стороны вроде бы женская грудь. Мы раскрыли рты, а он запустил руку за пазуху и вынул апельсин. Это был большой, огромный апельсин, величиной с приличную детскую голову. Он был бугристый, оранжевый и словно светился. Евдошук поднял его над головой и поддерживал снизу кончиками пальцев, и он висел прямо под горбылем нашей палатки, как солнце, и Евдошук, у которого, прямо скажем, матерщина не сходит с губ, улыбался, глядя на него снизу, и казался нам в эту минуту магом-волшебником, честно. Это была немая сцена, как в пьесе Николая Васильевича Гоголя «Ревизор».

Потом мы опомнились и стали любоваться апельсином. Я уверен, что никто из ребят, принадлежи ему этот апельсин, не скушал бы его. Он ведь долго рос и наливался солнцем где-то на юге и сейчас был такой, как бы это сказать, законченный, что ли, и он был один, а ведь сожрать его можно за несколько секунд.

Евдошук все объяснил. Оказалось, что он добыл этот апельсин в Фосфатогорске, ему уступил его в обмен на перочинный нож вернувшийся с Талого экспедитор Парамошкин. Ну, Евдошук с Чудаковым и помчались сюда, чтобы поднять аврал.

Мы повскакали с коек и завозились, вытаскивая свои чемоданы и рюкзаки. Юра толкнул меня в спину.

— Вить, я на тебя надеюсь в смысле тити-мити.

— Ты что, печку, что ли, топишь деньгами? — удивился я.

— Кончай, — сказал он, — за мной не заржавеет.

Мы вылезли из палатки и побежали в гору сообщить Кичекьяну насчет экскурсии в Талый. Бежали мы быстро, то и дело сбиваясь с протоптанной тропинки в снег.

— Значит, я на тебя надеюсь, Вить! — крикнул сзади Юра.

На площадке возле костра стоял Кичекьян и хлопал рукавицами.

— Бросьте заливать, ребята, — сказал он, — какие там апельсины. Выпить, что ли, захотелось?

Тогда мы все обернулись и посмотрели на Евдошука. Евдошук, небрежно глядя на луну и как бы томясь, растегивал свой тулуп. Кичекьян даже заулыбался, увидев апельсин. Евдошук бросил апельсин Айрапету, и тот поймал его одной рукой.

— Марокканский, — сказал он, хлопнув по апельсину рукавицей, и бросил его Евдошуку, а тот метнул обратно. Такая у них произошла перепасовочка.

— Это вам, — сказал Евдошук, — как южному человеку.

Кичекьян поднял апельсин вверх и воскликнул:

— Да будет этот роскошный плод знамением того, что мы сегодня откроем нефть! Езжайте, ребята. Может быть, и мы туда на радостях зайвемся.

Мы ничего на это ему не сказали и побежали вниз. Внизу Чудаков уже разогревал мотор.

Когда едешь от нашего лагеря до Фосфатогорска и видишь сопки, сопки без конца и края, и снег, и небо, и луну, и больше ничего не видишь, невольно думаешь: куда это ты попал, Витек, думал ли ты, гадал ли в детстве, что попадешь в такие края? Сколько я уже плутаю по Дальнему Востоку, а все не могу привыкнуть к пустоте, к огромным пустым пространствам. Я люблю набитые ребятами кузова машин, бараки и палатки, хоть там топор можно повесить. Потому что, когда один храпит, а другой кушает мясную тушенку, а третий рассказывает про какую-нибудь там деревню на Тамбовщине, про яблоки и пироги, а четвертый пишет письмо какой-нибудь невесте, а приемник трещит и мигает индикатором, — кажется, что вот он здесь, весь мир, и никакие нам беды не страшны, разные там атомные ужасы и стронций-90.

Чудаков гнал машину на хорошей скорости, встряхивал нас на славу. Мы стучались друг о друга и думали об апельсинах. В своей жизни я ел апельсины не один раз. В последний раз это было в Москве года три назад, в отпуске. Ничего, прилично я тогда навитаминился.

Наконец мы проехали Кривой Камень, и открылся лежащий внизу Фосфатогорск — крупнопанельные дома, ве-

ревочки уличных фонарей, узкоколейка. В центре города, голубой от лунного света, блесстел каток.

Скатились мы, значит, в этот «крупный промышленный и культурный центр», в котором жителей как-никак пять тысяч человек, и Чудаков на полной скорости начал крутить по совершенно одинаковым улицам среди совершенно одинаковых четырехэтажных домов. Может, и мне придется жить в одном из этих домов, если товарищ Кравченко найдет время оторваться от своей общественной деятельности и ответить на мои серьезные намерения. Не знаю уж, как я свой дом отыщу, если малость выпью с получки. Придется мету какую-нибудь ставить или надпись: «Жилплощадь занята. Глава семьи — Виктор Колтыга».

Вырвались мы на шоссе и катим по нему. Здесь гладко: грейдеры поработали. Юра мечтает:

— Разрежу его, посыплю песком и съем...

— Чудак, — говорит Базаревич, — посыпать апельсины сахаром — это дурной тон.

— Витька, — обратился ко мне Миша, — а правда, что в апельсинах солнечная энергия?

— Точно, — говорю, — в каждом по три киловатта.

— Вить, так я на тебя надеюсь, — говорит Юра.

— Кончай, — говорю, — свою тягомотину. Надеешься, так и молчи.

В это время нагоняет нас самосвал «Язык», а в нем вместо грунта или там щебенки полным-полно ребят. Веселые, смеются. Самосвал идет наравне с нами, на обгон норовит.

— Эй! — кричим. — Куда, ребята, катаетесь?

— В Талый, за апельсинами!

Мы заколотили по крыше кабины: обидно было, что обогнал нас дряхлый «Язык».

— Чудаков! — кричим. — Покажи класс!

Чудаков сообразил, в чем дело, и стал было показывать, но самосвал в это время вильнул, и мы увидели грейдер, весь облепленный ребятами в черных городских пальто. Через секунду и мы стали обходить грейдер, но Чудаков сбросил скорость. Ребята на грейдере сидят, как галки, синие носы трут.

— Куда, — спрашиваем, — торопитесь?

— В Талый, — говорят, — за апельсинами.

Ну, взяли мы этих парней к себе в кузов, а то ведь

они на своем грейдере поспеют в Талый к одним только разговорам, к трепотне о том, кто больше съел. Да и ребята к тому же были знакомые, из авторемонтных мастерских.

Тогда Чудаков стал показывать класс. Мы скорчились на дне кузова и только слушали, как гудит, ревет воздух вокруг нашей машины. Смотрим, самосвал уже сзади нас. Ребята там встали, стучат по кабине.

— Приветик! — кричим мы им.

— Эй! — кричат они. — Нам-то оставьте малость!

— Все сожрем! — кричим мы.

Дорога начала уходить в гору, потом пошла по склону сопки, и мы увидели внизу, в густой синеве распадка, длинную вереницу красных огоньков, стоп-сигналов машин, идущих впереди нас на Талый.

— Похоже на то, что в Талом сегодня будет целый фестиваль, — сказал Леня Базаревич.

На развилке главного шоссе и дороги, ведущей в зверосовхоз, мы увидели плотную группу людей. Они стояли под фонарем и «голосовали». Видно было, что это моряки. Чудаков притормозил, и моряки попрыгали к нам в кузов. Теперь наша машина была набита битком.

— Куда, — спрашиваем, — путь держите, моряки?

— В Талый, — говорят, — за апельсинами.

Они, оказывается, мчались из Петровского порта на попутных. Это был экипаж сейнера «Зюйд» в полном составе, за исключением вахтенного. Смотрю, а среди них сидит тот самый парнишка, который на танцах ухаживал за Люсей. Сидит, мичманку на уши надвинул, воротник поднял, печальный такой паренек.

— О, — говорю, — Гера! Привет!

— А, — говорит, — здорово, Витя!

— Ну, как, — спрашиваю, — рыбка ловится?

— В порядке, — отвечает.

Так, значит, перекинулись, как будто мы с ним на «вась-вась», вроде мы с ним добрые знакомые, не то что дружки, а так.

Едем мы, мчимся, Чудаков класс показывает, обгоняем разную самодвигающуюся технику: машины, бортовые и «ГАЗ-69», тракторы с прицепами, грейдеры, бульдозеры, мотоциклы. Черт, видно, вся техника в радиусе ста километров поставлена на ноги! Господи ты боже, смотрим — собачья упряжка шпарит по обочине!

Одна, другая... Нанайцы, значит, тоже решили повитами-ниться.

Сидим мы, покуриваем. Я ребятам рассказываю все, что знаю, про цитрусовые культуры и иногда на Геру посматриваю. И он тоже на меня нет-нет да взглянет.

Тут я увидел, что нас нагоняет мотоцикл с коляской, а за рулем Сергей Орлов, весь в коже, и в очках, и в мотоциклетном шлеме. Сидит прямо, руки в крагах расставил, как какой-нибудь гвардейский эскорт. Сзади, вижу, сидит бородатый парень — ага, Николай Калчанов. А в коляске у них девушка, тоже в мотоциклетных очках. Это парни из Фосфатогорска, интеллектуалы, а вот девчонка что-то незнакомая.

Взяли они на обгон, идут с нами вровень.

— Привет, Сережа! — крикнул я им. — Ник, здорово!

— А, Витя, — сказали они, — ты тоже за марокканской картошкой спешишь?

— Точно, — говорю. — Угадали.

— Закурить есть? — спрашивает Калчанов.

Я бросил ему пачку, а он сразу сунул ее девчонке в коляску. Смотрю, девчонка спрятала голову за щиток и закуривает. Тут я ее узнал — это была Катя, жена нашего Айрапета Кичекьяна, учительница из Фосфатки.

Катя закурила, помахала мне рукавицей и улыбнулась, показала все-таки свои зубки. Когда они с мужем приехали к нам с материка, самого Айрапета никто не замечал — так была красива его жена. Такая блондинка, прямо из польского журнала «Экран». Также паника у нас тогда началась, вроде как сейчас, с апельсинами. Все поехали съездить в Фосфатогорск посмотреть на нее. Ну, потом привыкли.

Зверь, а не машина у Орлова! Он легко обогнал нас и стал уходить. Чудаков пытался его достать, но дудки. Мы их догнали на семьдесят третьем километре, они вытаскивали свою машину из кювета. Коля Калчанов хромал, а Катя, смеясь, рассказывала, как она вылетела из коляски, пролетела в воздухе метров десять — нет, двадцать, ну, не двадцать, а пятнадцать, в общем, метров пять она летела, ну, ладно, пять — и зарылась головой в снег. Орлов в своем шлеме и по пояс в снегу выглядел прямо молодцом. Мы помогли им вытащить машину, и они поехали теперь уже потише, держась за нами.

В общем, дорога была веселая, все шоссе грохотало

десятками двигателей, а перед самыми Шлакоблоками мы встретили рейсовый автобус Талый — Фосфатогорск, из которого какой-то типчик бросил нам в кузов горсть оранжевой апельсиновой кожи.

На большой скорости мы ворвались в Шлакоблоки, домики замелькали в глазах, я растерялся и даже не мог определить, в какой стороне Люсин барак, и понял, что через несколько секунд он уже останется сзади, этот поселочек, моя столица, как вдруг Чудаков затормозил. Я увидел Люсин барак, чуть ли не по крышу спрятанный в снег, и белый дым из трубы. Чудаков вылез из кабины и спросил меня:

— Зайдешь?

Я посмотрел на Геру. Он смотрел на меня. Я выпрыгнул из машины и зашагал к бараку.

— Только по-быстрому, — крикнул мне вслед Чудаков.

Я услышал за спиной, как ребята попрыгали из машины. Вовремя, значит, произошла остановка.

Небрежно, как бы мимоходом, я зашел в комнату и увидел, что она пуста. Все десять коек были аккуратно застелены, как это всегда бывает у девчат, а в углу на веревке сушилась разная там голубая и розовая мелочишка, которую я предпочел не разглядывать. Вот записки на столе я просмотрел.

«Шура, мы уехали в Талый. Роза», — прочел я.

«Игорь, мы уехали за апельсинами. Нина», — прочел я.

«Слава, продай билеты и приезжай в Талый. И. Р.», — прочел я.

«Эдик, я уехала в Талый за апельсинами. Извини. Люся», — прочел я.

«Какой же это Эдик? — подумал я. — Уж не Танака ли? Тогда мне кранты».

Да, попробуй потягаться с таким орлом, как Эдуард Танака, чемпиона Дальневосточной зоны по лыжному двоеборью — трамплин и равнина.

Я вынул свое письмо, положил его на стол и вышел. В дверях столкнулся с Герой.

— Ну, как там девчата? — промямлил он.

— Уехали в Талый, — сказал я. — Небось уже рубают апельсинчики.

Мы вместе пошли к машине.

— Ты, слушаем, не знаком с Танакой? — спросил я.

— Это чемпион, что ли?

— Ага.

— Нет, не знаком. Видел только, как он прыгает.
В кино.

— Он и не в кино здорово прыгает.

— Ага, хорошо прыгает.

Снег возле машины был весь разукрашен желтыми за-
тейливыми узорами. Мы влезли в кузов и поехали
дальше.



2

НИКОЛАЙ КАЛЧАНОВ

На комсомольском собрании мне предложили сбрить бороду. Собрание было людное, несмотря на то что сегодня в тресте выдавали зарплату. Все знали, что речь будет идти о моей бороде, и каждый хотел принять участие в обсуждении этой жгучей проблемы или хотя бы посмеяться.

Для порядка поговорили сначала о культурно-массовой и спортивной работе, а потом перешли к кардинальному вопросу повестки дня, который значился в протоколе под рубрикой «О внешнем виде комсомольца».

Ерофейцев сделал сообщение. Он говорил, что большинство комсомольцев в свободное от работы время имеют чистый, опрятный и подтянутый вид, однако (но... наряду с этим... к сожалению, следует заметить...) имеются еще комсомольцы, пренебрегающие... и к ним следует отнести молодого специалиста инженера Калчанова.

— Я понимаю, — сказал Ерофейцев, — если бы Коля — ты меня, Коля, прости (я покивал), — если бы он был геологом и зарос, так сказать, естественным порядком (смех), но ты, Коля, прости, ты даже не художник какой-нибудь, и, извини, это — пижонство, а у нас здесь не Москва и не Ленинград.

В зале начался шум. Ребята с моего участка кричали, что борода — это личное дело мастера и уж не будет ли Ерофейцев контролировать, кто как разными такими личными делами занимается, что это, дескать, зажим и все такое. Другие кричали другое. Особенно старались чевушки из Шлакоблоков. Одна из них была определено недурна. Она заявила, что внешний облик человека свидетельствует как-никак о его внутреннем мире. Такая грубо говоря, смугляночка, какой-то итальянский тип. Я подмигнул ей, и она встала и добавила мысль о том, что дурные примеры заразительны.

Проголосовали. Большинство было против бороды.

— Хорошо, сбрую, — сказал я.

— Может, хочешь что-нибудь сказать, Коля? — спросил Ерофейцев.

— Да нет уж, чего уж, — сказал я. — Решено, — значит, так. Чего уж там...

Таковую я произнес речь. Публика была разочарована.

— Мы ведь тебя не принуждаем, — сказал Ерофейцев. — Мы не приказываем, тут некоторые неправильно поняли, не осмыслили. Мы тебя знаем, ты хороший специалист и в быту, в общем, устойчив. Мы тебе ведь просто рекомендуем...

Он разговаривал со мной, как с больным.

Я встал и сказал:

— Да ладно уж, чего там. Сказано — сделано. Сбрую. Считайте, что ее уже нет. Была и сплыла.

На том и закончилось собрание.

В коридоре я встретил Сергея. Он шел с рулоном чертежей под мышкой. Я прислонился к стене и смотрел, как он идет, высокий, чуть-чуть отяжелевший за эти три года после института, элегантный, как столичный деловой человек.

— Ну что, барбудос, плохи твои дела? — спросил он.

Вот это в нем сохранилось — дружеское, но немного снисходительное отношение старшекурсника к салаке.

Я подтянулся.

— Не то чтобы так, начальник, — сказал я. — Не то чтобы очень.

— Это тебе не кафе «Аэлита», — тепло усмехнулся он.

— Точно, начальник. Верно подмечено.

— А жалко? Сознайся, — подмигнул он и дернул меня за бородку.

— Да нет уж, чего уж, — засмутился я. — Ладно уж, чего там...

— Хватит-хватит, — засмеялся он. — Завелся. Вечером придешь?

— Очень даже охотно, — сказал я, — с нашим удовольствием.

— У нас сейчас совещание, — он показал глазами на чертежи, — говорильня минут на сорок — на час...

— Понятно, начальник, мы это дело понимаем, со всем уважением...

Он улыбнулся, хлопнул меня чертежами по голове и пошел дальше.

— Спроси его насчет цемента, мастер, — сказал мне мой тезка Коля Марков, бригадир.

— Сережка! — крикнул я. — А как там насчет цемента?

Он обернулся уже в дверях директорского кабинета.

— А что с цементом? — невинно спросил он.

— Без ножа ведь режете, гады! — крикнул я с маленькой потной истерии.

За спиной Сергея мелькнуло испуганное лицо директорской секретарши.

— Завтра подбросим, — сказал Сергей и открыл дверь.

Я вышел из треста и посмотрел на огромные сопки, нависшие над нашим городком. Из-за одной сопки выглядывал краешек луны, и редкие деревья на вершине были отчетливо видны, каждое деревце в отдельности. Я зашел

за угол здания, где не было никого, и стал смотреть, как луна поднимается над сопкой и как на сопки и на распадки ложатся резкие темно-синие тени и серебристо-голубые полосы света, и как получается Рокуэлл Кент. Я подумал о том, на сколько сотен километров к северу идет этот потрясающий рельеф и как там мало людей, да и зверей не много, и как на какой-нибудь метеостанции сидят двое и топят печь, два человека, которые никогда не надоедают друг другу.

За углом здания слышен был топот и шум. Кто-то стоваривался насчет «выпить-закусить», кто-то заводил мотоцикл, смеялись девушки.

Из-за угла вышла группа девиц, казавшихся очень неуклюжими и бесформенными в тулупах и валенках, и направилась к автобусной остановке. Это были девицы из Шлакоблоков. Они прошли мимо, стрекоча, как стая птиц, но одна обернулась, заметила меня. Она вздрогнула и остановилась. Представляю, как я выглядел один на фоне белой освещенной луной стены.

Она подошла и остановилась в нескольких шагах от меня. Это была та самая итальяночка. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга.

— Ну, чего это вы так стоите? — дрогнувшим голосом спросила она.

— Значит, из Шлакоблоков? — спросил я, не двигаясь.

— Переживаете, да? — уже другим тоном, насмешливо спросила она.

— А звать-то как? — спросил я.

— Ну, Люся, — сказала она, — но ведь критика была по существу.

— Законно, — сказал я. — Пошли в кино?

Она облегченно засмеялась.

— Сначала побрейтесь, а потом приглашайте. Ой, автобус!

И побежала прочь, неуклюже переваливаясь в своих больших валенках. Даже нельзя было представить, глядя на нее в этот момент, что у нее фигура Дианы. Высунулась еще раз из-за киоска и посмотрела на Николая Калчанова, от которого на стену падала огромная и уродливая тень.

Я вышел из-за угла и пошел в сторону фосфатогорского Бродвея, где светились четыре наших знаменитых новых вывески — «Гастроном», «Кино», «Ресторан»,

«Книги» — предметы нашей всеобщей гордости. Городишко у нас гонористый, из кожи вон лезет, чтобы все было как у больших. Даже есть такси — семь машин.

Я прошел мимо кино. Шла картина «Мать Иоанна от ангелов», которую я уже смотрел два раза, позавчера и вчера. Прошел мимо ресторана, в котором было битком. Из-за шторы виднелась картина Айвазовского «Девятый вал» в богатой раме, а под ней голова барабанщика, сахалинского корейца Пак Дон Хи. Я остановился посмотреть на него. Он сиял. Я понял, что оркестр играет что-то громкое. Когда они играют что-нибудь громкое и быстрое, например «Вишневый сад», Пак сияет, а когда что-нибудь тихое, вроде «Степь да степь кругом», он сияет — не любит он играть тихое. В этот раз Пак сиял как луна. Я понял, что ему дали соло и он сейчас руками и ногами выколачивает свой чудовищный брек, а ребята из нашего треста смотрят на него, раскрыв рты, толкают друг друга локтями и показывают большие пальцы. Нельзя сказать, что джаз в нашем ресторане старомодный, как нельзя сказать, что он модерн, как нельзя подвести его ни под какую классификацию. Это совершенно самобытный коллектив. Лихие ребята. Просто диву даешься, когда они с неслышанным нахальством встают один за другим и солируют, а потом как грянут все вместе — хоть стой, хоть падай.

Насмотревшись на Пака и порадовавшись за него, я пошел дальше. У меня немного болело горло, видно, простудился сегодня на участке, когда лаялся с подсобниками.

В гастрономе было полно народу. Наш трест штурмовал прилавки, а шахтеры, авторемонтники и геологи стреляли у наших грешки и пятерки. Дело в том, что нам сегодня выдали зарплату, а до других еще очередь не дошла.

У меня тоже попросил пятерку один знакомый парень, шофер из партии Айрапета.

— За мной не заржавеет, — сказал он.

— Как там ваши? — спросил я.

— Всё чикаются, да толку мало.

— Привет Айрапету, — сказал я.

— Ага.

Он врезался в толпу, и я полез за ним.

«Подольше бы вы там чикались!» — подумал я.

Я люблю Айрапета и желаю ему удачи, но у меня

просто нет сил смотреть на него и на Катю, когда они вместе.

Я взял две бутылки «Чечено-ингушского» и килограмм конфет под аппетитным названием «Зоологические». Засунул все это в карманы куртки и вышел на улицу.

«Бродвей» наш упирается прямо в сопку, в заросли кустарника, над которыми круто поднимается прозрачный лес — черные стволы, синие тени, серебристо-голубые пятна света. Ветви деревьев переплелись. Все резко, точно, страшновато. Я понимаю, почему графики любят изображать деревья без листьев. Деревья без листьев — это вернее, чем с листьями.

А за спиной у меня была обыкновенная добропорядочная улица с четырьмя неоновыми вывесками, похожая на обыкновенную улицу в пригороде Москвы или Ленинграда, и трудно было поверить, что там, за сопкой, город не продолжается, что там уже на тысячи километров к северу нет крупноблочных домов и неоновых вывесок, что там необозримое, предельно выверенное и точное царство, где уж если нечего есть, так нечего есть, где уж если ты один, так один, где уж если тебе конец, так конец. Плохо там быть одному.

Я постоял немного на грани этих двух царств, повернул налево и подошел к своему дому. Наш дом последний в ряду и всегда будет последним, потому что дальше — сопка. Или первым, если считать отсюда.

Стаськи дома не было. Я поставил коньяк на стол, поел баклажанной икры и включил радио.

— В Турции непрерывно растет стоимость жизни, — сказала радио.

Это я слышал еще утром. Это была первая фраза, которую я услышал сегодня утром, а потом Стаська сказал: — Куда эта бородатая сволочь спрятала мои гантели?

Он почти всегда так «нежно» меня величает, только когда не в духе, говорит «Коля», а если уж разозлится, то — «Николай».

Не люблю приходить домой, когда Стасика нет. Да, он очень шумный и рубашки носит на две стороны — удлиняет, так сказать, срок годности, а по ночам он жует пряники, запивая водопроводной водой, и чавкает, чавкает так, что я закрываюсь одеялами с головой и тихо, неслышно пою: «Га-а-дина, свинья, подавись ты своим пря-я-ником...» Но зато если бы он сейчас был дома, он

отбросил бы книжку и спросил: «Откуда заявила эта бородатая сволочь?» А я ответил бы: «С комсомольского собрания».

А когда мы выпьем, я говорю с ним о Кате.

Я встал и плотно прикрыл скрипучие дверцы шкафа, придвинул еще стул, чтобы не открывались. Не люблю, когда дверцы шкафа открыты, и прямо весь содрогаюсь, когда они вдруг открываются сами по себе с тихим, щемящим сердце скрипом. Появляется странное ощущение, как будто из шкафа может вдруг выглянуть какая-нибудь рожа или просто случится что-нибудь нехорошее.

Я взял свой проект и расстелил на столе, приколот кнопочками. Закурил и отошел немного от стола. Он лежал передо мной, будущий центр Фосфатогорска, стеклянный и стальной, гармоничный и неожиданный. Простите, но когда-то наступает пора, когда ты сам можешь судить о своей работе. Тебе могут говорить разное, умное и глупое и середка-наполовинку, но ты уже сам стоишь, как столб, и молчишь — сам знаешь.

Конечно, это не мое дело. Я мастер. Мое дело — наряды, цемент, бетономешалка. Мое дело — сизый нос и щеки свекольного цвета, мое дело — «мастер, скинемся на полбанки», и, значит, туда, внутрь — «давай-давай, не обижу, ребята, фирма платит». Мое дело — находить общий язык. Привет, мое дело — это мое дело. Мое дело — стоять, как столб, у стола, курить, и хвалить себя, и знать, что действительно добился успеха.

Я размазня, я никому не показываю своей работы, даже Сергею. Все это потому, что я не хочу лезть вверх. Вот если бы мой проект приняли, а меня бы за это понизили в должности и начались бы всякие мытарства, тогда мне было бы спокойно. Я не могу, органически не могу лезть вверх. Ведь каждый будет смотреть на твою физиономию и думать: «Ну, пошел парень, в гору идет». Только Стаська знает про эту штуку, больше никто, даже Катя.

Со мной дело плохо обстоит, уважаемые товарищи. Я влюблен. Чего там темнить — я влюблен в жену моего друга Айрапета Кичекьяна.

Я взял бутылку, двумя ударами по донышку выбил пробку и пару раз глотнул. Наверху завели радиолу.

— «Купите фиалки, — пел женский голос, — вот фиалки лесные».

Вот фиалки лесные, и ты вся в лесных фиалках, лицо твое в лесных фиалках, а ножками ты мнешь ягоды. Босыми. Землянику.

Я выпил еще и повалился на кровать. Открыл тумбочку и достал письма, наспех просмотренные утром.

Мать у меня снова вышла замуж, на этот раз за режиссера. Инка все еще меня любит. Олег напечатался в альманахе, сообщает Пенкин. Сигареты с фильтром он мне вышлет на днях. «Старая шляпа, ты еще не сдох?» — спрашивает сам Олег, и дальше набор совершенно незаслуженных оскорблений. Все-таки что за странный тон у моих друзей по отношению ко мне?

Я бросил письма обратно в тумбочку и встал. Увидел свое лицо в зеркале. Сейчас, что ли, ее сбрить? А как ее брить, небось щеки все раздерешь. Я растянул себе уши и подмигнул тому в зеркале.

— Катисься ведь по наклонной плоскости, — предупредил я его.

— Хе-хе, — ответил он и ухмыльнулся самой скверной из своих улыбок.

— Люблю тебя, подлеца, — сказал я ему.

Он потупился.

В это время постучали. Я открыл дверь, и мимо меня прямо в комнату прошла розовая Катя.

Она сняла свою парку и бросила ее на Стаськину постель. Потом подошла к зеркалу и стала причесываться. Конечно, начесала себе волосы на лоб так, что они почти закрыли правый глаз. Она была в толстой вязаной кофте и синих джинсиках, а на ногах, как у всех нас, огромные ботинки.

— Ага, — сказала она, заметив в зеркале бутылку, — пьешь в одиночку? Плохой симптом.

Я бросил ее парку со Стаськиной кровати на свою и подошел поближе. Мне нужно было убрать со стола проект, но я почему-то не сделал этого, просто заслонил его спиной.

Катя ходила по комнате и перетряхивала книги и разные вещи.

— Что читаешь? «Особняк»? Правда, здорово? Я ничего не поняла.

— Коньяк хороший? Можно попробовать?

— Это Стаськины гантели? Ого!

Не знаю, что ее занесло ко мне, не знаю, нервничала

она или веселилась. Я смотрел, как она ходит по нашей убогой комнате, все еще румяная, тоненькая, и вспомнил из Блока: «Она пришла с мороза, раскрасневшаяся, и наполнила комнату...» Как там дальше? Потом она села на мою кровать и стала смотреть на меня. Сначала она улыбнулась мне дружески-насмешливо, как улыбается мне Сергей Орлов, потом просто по-дружески, как ее муж Айрапет, потом как-то встревоженно, потом перестала улыбаться и смотрела на меня исподлобья.

А я смотрел на нее и думал:

«Боже мой, как жалко, что я узнал ее только сейчас, что мы не жили в одном доме и не дружили семьями, что я не приглашал ее на каток и не предлагал ей дружбу, что мы не были вместе в пионерском лагере, что не я первый поцеловал ее и первые тревоги, связанные с близостью, она разделила не со мной».

Весь оборот этого дела был для меня странен, невыносим, потому что она всегда, в общем, была со мной. Еще тогда, когда я вечером цепенел на площадке в пионерском лагере, глядя на темную стену леса, словно вырезанную из жести, и на зеленое небо и первую звезду... Мы пели песню:

В стране далекой юга,
Там, где не свищет вьюга,
Жил-был когда-то
Джон Грэй богатый.
Джон был силач, повеса...

Я был еще, в общем, удивительным сопляком и не понимал, что такое повеса. Я пел: «Джон был силач по весу...» Такой был смешной мальчишка. А еще мы пели «У юнги Билля стиснутые зубы» и «В Кейптаунском порту», и романтика этих смешных песенок безотказно действовала на наши сердца. И романтика эта была ею, Катей, которую я не знал тогда, а узнал только здесь. Катя, да, это бесконечная романтика, это самая ранняя юность, это... Ах ты, боже мой, это... Да-да-да. Это всегда «да» и никогда «нет». И она это знает, и она пришла сюда, чтобы сказать мне «да», потому что она почувствовала, кто она такая для меня.

— Хоть бы вы абажур какой-нибудь купили на лампочку, — сказала она тревожно.

— А, абажур, — сказал я и посмотрел на лампочку, которая свисала с потолка на длинном шнуре и висела в

комнате на уровне груди. Когда нам надо работать за столом, мы ее подвязываем к форточке.

— Правда, Колька, вы бы хоть окна чем-нибудь завесили, — посмелее сказала она.

— А, окна. — Я бессмысленно посмотрел на темные голые окна, потом посмотрел Кате прямо в глаза. В глазах у нее появился страх, они стали темными и голыми, как окна. Я шагнул к ней и задел плечом лампочку. Катя быстро встала с кровати.

— Купили бы приемник, — пробормотала она, — все-таки надо жить по-челове...

Лампочка раскачивалась, и тени наши метались по стенам и по потолку, огромные и странные. Мы стояли и смотрели друг на друга. Нас разделял метр.

— Хорошо бы еще цветы, а? — пробормотал я. — А?! Цветы бы еще сюда, ты не находишь? Бумажные, огромные...

— Бумажные — на похоронах, — прошептала она.

— Ну да, — сказал я. — Бумажных не надо. Лесные фиалки, да? Вот фиалки лесные. Считай, что они здесь. Вся комната полна ими. Считай, что это так.

Я поймал лампочку и, обжигая пальцы, вывернул ее. Несколько секунд в крошечной темноте прыгали и расплывались передо мной десятки ламп и тени качались на стене. Потом темнота успокоилась. Потом появились синие окна и темная Катина фигура. Потом кофта ее выступила бледным пятном, и я увидел ее глаза. Я шагнул к ней и обнял ее.

— Нет, — отчаянно вырываясь, сказала она.

— Это неправильно, — шептал я, целуя ее волосы, щеки, шею, — это не по правилам. Твой девиз — «да». Мне ты должна говорить только «да». Ты же это знаешь.

Она сильно, резко отворачивала свое лицо. Она вся стала в моих руках сильной, твердой, упругой, уходящей. Мне казалось, что я ошибся, что я поймал в темноте какое-то лесное животное — козу или лань.

— Калчанов, ты подонок! — крикнула она, и я ее тут же отпустил. Я понял, что она имела в виду.

— Да-да, я подонок, — пробормотал я. — Я все понимаю. Как же, конечно... Прости...

Она не отошла от меня. Глаза ее блестели. Она положила мне руку на плечо.

— Нет, Колька, ты не понимаешь... ты не подонок...

— Не подонок, правильно, — сказал я, — сорванец. Колька-удалец, голубоглазый сорванец, прекрасный друг моих забав... Отодрать его за уши...

— Ах, — прошептала она и вдруг прижалась ко мне, прильнула, прилепилась, обхватила мою голову, и была она вовсе не сильной, совершенно беспомощной и в то же время властной.

Вдруг она отшатнулась и, упираясь руками мне в грудь, прошептала таким голосом, словно плакала без перерыва несколько часов:

— Где ты раньше был, Колька? Где ты был год назад, черт?

В это время хлопнула дверь и в комнату кто-то вошел, споткнулся обо что-то, чертыхнулся. Это был Стаська. Он зажег спичку, и я увидел его лицо с открытым ртом. Он смотрел прямо на нас. Спичка погасла.

— Опять эта бородатая уродина куда-то смылась, — сказал Стаська и, громко стуча каблуками, вышел из комнаты.

— Зажги свет, — тихо сказала Катя.

Она села на кровать и стала поправлять прическу. Я долго искал лампочку, почему-то не находил. Потом нашел, взял ее в ладони. Она была еще теплой.

«Да, — подумал я, — Катя, Катя, Катя! Нет, несмотря ни на что, невзирая и не озираясь, и какое бы у тебя ни было лицо, когда я зажгу свет...»

— Что ты стоишь? — спокойно сказала она. — Вверни лампочку.

Лицо у нее было спокойное и ироническое. Она вдруг посмотрела на меня искоса и снизу так, как будто влюбилась в меня с этого, как бы первого взгляда, как будто я какой-нибудь ковбой и только что с дороги вошел сюда в пыльных сапогах, загорелый и видавший виды.

— Катя, — сказал я, но она уже надевала парку.

Она подняла капюшон, задернула «молнию», надела перчатки и вдруг увидела проект.

— Что это? — воскликнула она. — Ой, как здорово!

— Катя, — сказал я. — Ну, хорошо... Ну, боже мой... Ну что же дальше?

Но она рассматривала проект.

— Какой дом! — воскликнула она. — Потрясающе!

Я ненавижу свой проект.

— Топ-топ-топ, — засмеялась она. — Это я иду по лестнице...

— Там будет лифт, — сказал я.

— Это твоя работа? — спросила она.

— Нет, это Корбюзье.

Я закурил и сел на кровать.

— Послушай, — сказал я. — Ну, хорошо... Я не могу говорить. Иди ко мне.

— Перестань! — резко сказала она и подошла к двери. — Ты что, с ума сошел? Не сходи с ума!

— Для тебя у меня нет ума, — сказал я.

— Ты идешь к Сергею? — спросила она.

— Я иду к Сергею, — сказала она.

— Ну? — и она вдруг опять, опять так на меня посмотрела.

— Считаю до трех, Колька, — по-дружески засмеялась она.

— Считаю до нуля, — сказал я и встал.

«Ну, хорошо, разыграем еще один вечер, — думал я. — Еще один фарс. Поиграем в «дочки-матери», прекрасно. Какая ты жалкая, ведь ты же знаешь, что наш пароль — «да»!»

Мы вышли из дома. Она взяла меня под руку. Она ничего не говорила и смотрела себе под ноги. Я тоже молчал. Скрипел снег, и булькал коньяк у меня в карманах.

На углу главной улицы мы увидели Стаську. Он стоял, покачиваясь с пятки на носок, и читал газету, наклеенную прямо на стену. В руках у него был его докторский чемоданчик.

— Привет, ребята, — сказал он, заметив нас, и ткнул пальцем в газету. — Как тебе нравится Фишер? Силен, бродяга!

— Ты с вызовов, да? — спросил я его.

— Да, по вызовам ходил, — ответил он, глядя в сторону. — Одна скарлатина, три катара, обострение язвы...

— Пошли к Сергею?

— Пошли.

Он взял Катю под руку с другой стороны, и мы пошли втроем. С минуту мы шли молча, и я чувствовал, как дрожит Катина рука. Потом Катя заговорила со Стаськой. Я слушал, как они болтают, и окончательно уже терял все нити, и меня заполняла похожая на изжогу, на сильное похмелье пустота.

— Просто не представляю себе, что ты врач, — как сто раз раньше, посмеивалась над Стасиком Катя. — Я бы к тебе не пошла лечиться.

— Тебе у психиатра надо лечиться, а не у меня, — как всегда, отшучивался Стаська.

Мы вошли в дом Сергея и стали подниматься по лестнице. Стаська пошел впереди и обогнал нас на целый марш. Катя остановилась, обняла меня за шею и прижалась щекой к моей бороде.

— Коленька, — прошептала она, — мне так тошно. Сегодня у меня был Чудаков, и я послала с ним Айрапету белье и варенье. Ты понимаешь, я...

Я молчал. Проклятое косноязычие! Я мог бы ей сказать, что всю мою нежность к ней, что всю жестокость, которую я могу себе позволить, я отдаю в ее распоряжение, что все удары я готов принять на себя, если бы это было можно. Да, я знаю, что все будет распределено поровну, так уж бывает, но пусть она свою долю попробует отдать мне, если может...

— Мне никогда не было так тяжело, — прошептала она. — Я даже не думала, что так может быть.

Наверху открылась дверь, послышались громкие голоса Сергея и Стаськи и голос Гарри Беллафонте из магнитофона. Он пел «Когда святые маршируют».

— Катя! — крикнул Сергей. — Коля! Все наверх!

Она поспешно вытирала глаза.

— Пойдем, — сказал я. — Я тебя сейчас развеселю.

— Развеселишь, правда? — улыbnулась она.

— Ты слышишь Беллафонте? — спросил я. — Сейчас мы с ним вдвоем возьмемся за дело.

Мы побежали вверх по лестнице и ворвались в прекрасную квартиру заместителя главного инженера треста Сергея Юрьевича Орлова. Я сразу прошел в комнату и грохнул на стол свои бутылки. Я привык вести себя в этой квартире немного по-хамски: наследить, например, своими огромными ботинками, развалиться в кресле и вытянуть ноги, шумно сморкаться. Вот и сейчас я прошагал по навозченному, не типовому, а индивидуальному паркету, прибавил громкости в магнитофоне и стал выкаблучивать. С ботинок у меня слетали опметки снега. Стасик не обращал на меня внимания. Он сидел в кресле возле журнального столика и просматривал прессу. Катя и Сергей что-то задержались в передней. Я заглянул

туда. Они стояли очень близко друг к другу. Сергей держал в руках Катину парку.

— Ты плакала? — строго спросил он.

— Нет, — она покачала головой и увидела меня. — Отчего мне плакать?

Сергей обернулся и внимательно посмотрел на меня.

— Пошли, ребята, выйдем, — сказал я.

Они вошли в комнату. Сергей увидел коньяк и сказал:

— Опять «Чечено-ингушский»? Похоже на то, что Дальний Восток становится филиалом Чечено-Ингушетии.

— Не забывают нас братья из возрожденной республики, — сказал я.

Сергей принес рюмки и разлил коньяк, потом опять ушел и вернулся с тремя бутылками нарзана. Скромно поставил их на стол.

— Господи, нарзан! — воскликнула Катя. — Где ты только это все достаем?

— Не забывают добрые люди, — усмехнулся Сергей.

— Да, у него и сигареты московские и самые дефицитные книжки. Устроил же себе человек уголок цивилизации!

Стаська выпил рюмку и сосредоточенно углубился в себя.

— Идет, — сказал он, — пошел по пищеводу.

Это он о коньяке.

— Ты смотрела «Мать Иоанну»? — спросил Катю Сергей.

— Два раза, — сказала Катя, — вчера и позавчера.

— А ты? — повернулся ко мне Сергей.

— Мы вместе с Катей смотрели, — сказал я.

— Вот как? — он опять внимательно посмотрел на меня. — Ну и что? Как Люцина Виница?

— Потрясающе, — сказала Катя.

— Прошел в желудок, — меланхолично заметил Стасик.

— Вообще поляки работают без дураков...

— Да, кино у них сейчас...

— Я смотрел один фильм...

— Там есть такой момент...

— Всасывается, — сказал Стасик, — всасывается в стенки желудка.

— Помнишь колокола? Беззвучно...

- И женский плач...
- Масса находок...
- Неореализм трещит по швам...
- Но итальянцы...
- Если вспомнить «Сладкую жизнь»...
- А в крови-то, в крови, — ахнул Стасья, — господи, в крови-то у меня что творится!

Так мы сидели и занимались своими обычными разговорчиками. Мы всегда собирались у Сергея. Здесь как-то все располагало к таким разговорам, но в последнее время эти сборища стали напоминать какую-то обязательную гимнастику для укрепления языка, и в этой чудовищной болтовне появилась какая-то фальшь, так же как во всей обстановке, в модернистских гравюрах на стене. Все это, по-моему, уже чувствовали.

Я смотрел на Катю. Она печально смеялась и курила. Мне бы с ней быть не здесь, а где-нибудь на метеостанции. Топить печь.

— Может, тебе не стоит столько курить? — сказал ей Сергей.

И только в музыке не было фальши, в металлических звуках, в резком полубабьем голосе Поля Анки. Я вскочил.

— Катюша! Катюшка! Пойдем танцевать!

Катя побежала ко мне, грохоча ботинками.

— Ну, как же я буду танцевать в этих чеботах? — растерянно улыбнулась Катя.

— Одну минуточку, — сказал Сергей и полез под тахту.

Я выкаблучивал как безумный и вдруг увидел, что он вытаскивает из-под тахты лучшие Катины туфельки. Он встал с туфельками в руках и посмотрел на Катю. Он держал туфельки как-то по-особенному и смотрел на Катю с каким-то новым, удивившим меня, дурацки-печальным выражением.

Катя насмешливо улыбнулась ему и выхватила туфельки.

Да, мы танцевали. Я показал, на что я способен.

— Ну, даешь, бородатая бестия! — кричал Стасик и хлопал в ладоши.

— Осторожней, Колька! — кричал Сергей и тоже хлопал.

Я крутил Катю и подбрасывал ее, мне это было легко.

У меня хорошие мускулы, и чувство ритма, и злости достаточно. И танец был немислим и фальшив, потому что не так мне надо с ней танцевать.

Когда кончилась эта свистопляска, мы с Катей упали на тахту. Мы лежали рядом и шумно дышали.

— Скоро мне уже нельзя будет танцевать такие танцы, — тихо сказала она.

— Почему? — удивился я, чувствуя приближение чего-то недоброго.

— Я беременна, — сказала Катя. — Начало второго месяца...

Мне показалось, что я сейчас задохнусь, что тахта поехала из-под меня и я уже качаюсь на одной спице и вот вот сорвусь.

— Да, — прошептала она, — вот видишь... Всё и еще это.

И она погладила меня по голове, а я взял ее за руку. Мы не обращали внимания на то, что на нас смотрят Сергей и Стаська. «Так и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова... Так и жизнь пройдет...» — вертелось у меня в голове.

— Ну, будь веселым, — сказала Катя, — давай весели меня.

— Давай повеселю, — сказал я.

Мы снова начали танцевать, но уже не так, да и музыка была другая.

В это время раздался звонок. Сергей пошел открывать и вернулся с Эдиком Танакой. Эдик весь заиндевел, видно долго болтался по морозу.

— Танцуете? — угрожающе сказал он. — Танцуйте, танцуйте. Так вы все на свете протанцуете.

Катя заулыбалась, глядя на Танаку, и у меня почему-то немного отлегло от души с его приходом. Он всегда заявлялся из какого-то особого, спортивного, крепкого мира. Он был очень забавный, коренастый, ладенький такой, с горячими коричневыми глазами. Отец у него японец. Наш простой советский японец, а сам Эдик — чемпион по лыжному двоеборью.

— А ну-ка, смотрите сюда, ребятки! — закричал он и вдруг выхватил из-за пазухи что-то круглое и оранжевое.

Он выхватил это, как бомбу, размахнулся в нас, но не бросил, а поднял над головой. Это был апельсин.

Катя всплеснула руками. Стаська замер с открытым ртом, прервав наблюдения над своим организмом. Сергей оценивающе уставился на апельсин. А я, я не знаю, что делал в этот момент.

— Держи, Катька! — восторженно крикнул Эдик и бросил Кате апельсин.

— Ну что ты, что ты, — испуганно сказала она и бросила ему обратно.

— Держи, говорю! — И Эдик опять бросил ей этот плод.

Катя вертела в руках апельсин и вся светилась, как солнышко.

— Ешь! — крикнул Эдик.

— Ну что ты! Разве его можно есть? — сказала она. — Его надо подвесить под потолок и плясать вокруг, как идолопоклонники.

— Ешь, Катя, — сказал Сергей. — Тебе это нужно сейчас.

И он посмотрел на меня. Что такое? Он знает? Что такое? Я посмотрел на Катю, но она подбрасывала апельсин в ладошках и забыла обо всем на свете.

— Мужчины, быстро собирайтесь, — сказал Эдик. — Предстоит великая гонка. В Талый пришел пароход, битком набитый этим добром.

— Это что, новый японский анекдот? — спросил Стасик.

Сергей, ни слова не говоря, ушел в другую комнату.

— Скептики останутся без апельсинов, — сказал Эдик.

Тут Стаська, видно, понял, что Эдик не врет, и бросился в переднюю. Чуть-чуть не грохнулся на паркете. Катя тоже побежала было за ним, но я схватил ее за руку.

— Тебе нельзя ехать, — сказал я. — Тебе же нельзя. Ты забыла?

— Ерунда, — шепнула она. — Мне еще можно.

Открылась дверь, и показался во всех своих мотоциклетных доспехах Сергей Орлов. Он был в кожаных штанах, в кожаной куртке с меховым воротником и в шлеме. Он застегивал краги. В другое время я бы устроил целый цирк вокруг этой кожаной статуи.

— Мы на мотоцикле поедem, Сережа? — спросила Катя прямо как маленькая.

— Ты что, с ума сошла? — спросил он откуда-то сверху. — Тебе же нельзя ехать. Неужели ты не понимаешь?

Катя сбросила туфельки и влезла в свои ботинки.

— Ладно, — сказал он и кивнул мне: — Пойдем, можешь мне выкатить машину.

Он удалился, блестя кожаным задом. Эдик сказал, что они со Стаськой поедут на его мотоцикле, только позже. К тому же ему надо заехать в Шлакоблоки, так что мы должны занять на них очередь. Катя дернула меня за рукав.

— Ну что ты стоишь? Скорей!

— Иди-ка сюда, — сказал я, схватил ее за руку и вывел в переднюю.

— От кого ты беременна? — спросил я ее в упор. — От него? — И я кивнул на лестницу.

— Идиот! — воскликнула она и в ужасе приложила к щекам ладони. — Ты с ума сошел! Как тебе в голову могло прийти такое?

— Откуда он знает? Почему у него были твои туфли?

Она ударила меня по щеке не ладошкой, а кулачком, неловко и больно.

— Кретин! Порочный тип! Подонок! — горячо шептала она. — Уйди с глаз моих долой!

Конечно, разревелась. Эдик заглянул было в переднюю, но Стаська втянул его в комнату.

Я готов был задушить себя собственными руками. Я никогда не думал, что я способен на такие чувства. У меня разрывалось сердце от жалости к ней и от такой любви, что... Я чувствовал, что сейчас расплзусь здесь на месте, как студень, и от меня останется только мерзкая сентиментальная лужица.

— Ты... ты... — шептала она. — Тебе бы только мучить... Я так обрадовалась из-за апельсина, а ты... С тобой нельзя... И очень хорошо, что у нас ничего не будет. Иди к черту!

Я поцеловал ее в лоб, получил еще раз по щеке и стал спускаться. Идиот, вспомнил про туфельки! Это было в тот вечер, когда к нам приезжала эстрада. Я крутился тогда вокруг певицы, а Катя пошла к Сергею танцевать. Кретин, как я мог подумать такое?

Во дворе я увидел, что Сергей уже вывел мотоцикл и стоит возле него, огромный и молчаливый, как статуя Командора.



3

GERMAN КОВАЛЕВ

Кают-компания была завалена мешками с картошкой. Их еще не успели перенести в трюм. Мы сидели на мешках и ели гуляш. «Дед» рассказывал о том случае со сто седьмым, когда он в Алютерском заливе ушел от отряда, взял больше всех сельди, а потом сел на камни. «Деда» ловили на каждом слове и смеялись.

— Когда же это было? — почесал в затылке чиф.

— В пятьдесят восьмом, по-моему, — сказал Боря. — Точно, в пятьдесят восьмом. Или в пятьдесят девятом.

— Это было в тот год, когда в Северо-Курильск привозили арбузы, — сказал боцман.

— Значит, в пятьдесят восьмом, — сказал Иван.

— Нет, арбузы были в пятьдесят девятом.

— Помню, я съел сразу два, — мечтательно сказал Боря, — а парочку еще оставил на утро, увесистых.

— Арбузы утром — это хорошо. Прочищает, — сказал боцман.

— А я, товарищи, не поверите, восемь штук тогда умял... — Иван бессовестно вытаращил глаза.

Чиф толкнул лампу, и она закачалась. У нас всегда начинают раскачивать лампу, когда кто-нибудь «травит».

Качающаяся по стенам тень Ивана с открытым ртом и всклокоченными вихрами была очень смешной.

— Имел бы совесть, Иван, — сказал стармех, — всем ведь только по четыре штучки давали.

— Не знаете, дед, так и не смейтесь, — обиженно засопел Иван. — Если хотите знать, мне Зина с заднего хода еще четыре штуки вынесла.

— Да, арбузы были неплохие, — сказал Боря. — Сахаристые.

— Разве то были арбузы! — воскликнул чиф. — Не знаете вы, мальчики, настоящих арбузов! Вот у нас в Саратове арбузы — это арбузы.

— Сто седьмой в пятьдесят девятом сел на камни, — сказал я.

Все непонимающе посмотрели на меня, а потом вспомнили, с чего начался спор.

— Почему ты так решил, Гера? — спросил боцман.

— Это было в тот год, когда я к вам попал.

Да, это было в тот год, когда я срезался в авиационный техникум и пошел по жаркому и сухому городу куда глаза глядят, не представляя себе, что я могу вернуться домой к тетиним утешениям, и на стене огромного старинного здания, которое у нас в Казани называют «бегемот», увидел объявление об оргнаборе рабочей силы. Да, это было в тот год, когда я сел на жесткую серую траву возле кремлевской стены и понял, что теперь не скоро увижу Казань, что мальчики и девочки могут на меня не рассчитывать, что я, возможно, увижу моря посильнее, чем Куйбышевское. А за рекой виднелся наш Кировский рай-

он, и там, вблизи больших корпусов, моя улица, заросшая подорожником, турник во дворе, тетин палисадник и ее бормотанье: «Наш сад уж давно увядает, помят он, заброшен и пуст, лишь пышно еще доцветает настурция огненный куст». И возле старого дощатого облупившегося забора, который почему-то иногда вызывал целую бурю воспоминаний неизвестно о чем, я, задыхаясь от волнения, читал Ляле свой перевод стихотворения из учебника немецкого языка: «В тихий час, когда солнце бежит по волнам, я думаю о тебе. И тогда, когда, в лунных блестя лучах, огонек бежит...» А Ляля спросила, побагровев: «Это касается меня?» А я сказал: «Ну что ты! Это просто перевод». И она засмеялась: «Старомодная чушь!» Да, это было в тот год, когда я впервые увидел море, такое настоящее, такое зеленое, пахнущее снегом, и понял, что я отдаю морю всю свою жизнь. А Корень, который тогда еще служил на «Зюйде», засунул мне за шиворот селедку, и ночью в кубрике я ему дал «под дых», и он меня очень сильно избил. Да, это было в тот год, когда на сейнер был назначен наш нынешний капитан Володя Сакуненко, который не стал возиться с Корнем. Корень пытался взять его «на горло» и хватался за нож, но капитан спас его после первого же рейса. Да, это было в тот год, когда я тайком плакал в кубрике от усталости и от стыда за свое неумение. Это было в тот год, когда окончательно подобрался экипаж «Зюйда». А арбузы, значит, были в пятьдесят восьмом, потому что при мне в Северо-Курильск не привозили арбузов.

На палубе застучали сапоги, в кают-компанию вошел вахтенный и сообщил, что привезли муку и мясо и что капитан велел передать: он пошел в управление качать права насчет кинолент.

— Иван, Боря, Гера, — сказал чиф, — кончайте вашу трапезу и идите принимать провиант, а остальные пусть занимаются своим делом.

— Черт, — сказал боцман, — выйдем мы завтра или нет?

— А кто их знает, — проворчал чиф, — ты же знаешь, чем они там думают.

Дело в том, что мы уже неделю назад кончили малый ремонт, завтра мы должны выходить в море, а из управления еще не сообщили, куда нам идти — на сельдь ли

в Алютерку, на минтая ли к Приморью или опять на сайру к острову Шикотан.

Мы с Иваном и Борей вышли на палубу и начали таскать с причала мешки с мукой и бараньи туши. Я старался таскать мешки с мукой. Нет, я не чистоплюй какой-нибудь, но мне всегда становится немного не по себе, когда я вижу эти красные с белыми жилами туши, промерзшие и твердые. Когда-то ведь были курчавые, теплые...

Солнце село, и круглые верхушки сопок стали отчетливо видны под розовым небом. В Петрове уже зажигались огни на улицах. За волноломом быстро стужались сумерки, но все еще была видна проломанная во льду буксирами дорога в порт, льдины и разводы, похожие на причудливый кафельный орнамент. Завтра и мы уйдем по этой дороге, и снова — пять месяцев качки, ежедневных ледяных бань, тяжелых снов в кубрике, тоски о ней. Так я ее и не увидел за эту неделю после ремонта. Сегодня я отправлю ей последнее письмо, и в нем стихи, которые написал вчера:

Ветерок листву едва колышет
и, шурша, сбегает с крутизны.
Солнце, где-то спрятавшись за крыши,
загляделось в зеркальце луны.
Вот и мне никак не оторваться
от больших печальных глаз...

Вчера я читал эти стихи в кубрике, и ребята ужасно растрогались. Иван вскрыл банку компота и сказал: «Давай, поэт, рубай, таланту нужны соки».

Интересно, что она мне ответит. На все мои письма она ответила только один раз. «Здравствуйте, Гера! Извините, что долго не отвечала, очень была занята. У нас в Шлакоблоках дела идут ничего, недавно сдали целый комплекс жилых зданий. Живем мы ничего, много сил отдаем художественной самодеятельности...» — и что-то еще. И ни слова о стихах, и без ответа на мой вопрос. Она плясунья. Я видел однажды, как она плясала, звенела монистами, словно забыв обо всем на свете. Так она и пляшет передо мной все ночи в море, поворачивается, вся звеня, мелко-мелко перебирая сафьяновыми сапожками. А глаза у нее не печальные. Это мне бы хотелось, чтобы они были печальными. У нее глаза рассеянные, а иногда какие-то странные, сумасшедшие.

— Эй, Герка, держи! — крикнул Иван и бросил мне с пирса баранью тушу.

Я еле поймал ее. Она была холодная и липкая. Где-то далеко, за краем припая, ревели открытое море.

Из-за угла склада прямо на причал выехал зеленый «газик». Кто же это к нам пожаловал, регистр, что ли? Мы продолжали свою работу, как бы не обращая внимания на машину, а она остановилась возле нашего судна, и из нее вышли и спрыгнули к нам на палубу паренек с кожаной сумкой через плечо и женщина в шубе и брюках.

— Привет! — сказал паренек.

— Здравствуйте, — ответили мы, присели на планшир и закурили.

— Вот это, значит, знаменитый «Зюйд»? — спросила женщина.

А, это корреспонденты, понятно, они нас не забывают. Мы привыкли к этой публике. Забавное дело, когда поднимаешь ловушку для сайры и тебя обливает с ног до головы, а в лицо сечет разная снежная гадость, в этот момент ты ни о чем не думаешь или думаешь о том, что скоро сменишься, выпьешь кофе и — на бок, а оказывается, что в это время ты «в обстановке единого трудового подъема» и так далее... И в любом порту обязательно встретишь корреспондента. Зачем они ездят, не понимаю. Как будто надо специально приезжать, чтобы написать про обстановку единого трудового подъема. Писатели — другое дело. Писателю нужны разные шуточки. Одно время повадились к нам в сейнерный флот писатели. Ребята смеялись, что скоро придется на каждом судне оборудовать специальную писательскую каюту. Чего их потянуло на рыбу, не знаю. С нами тоже плавал месяц один писатель из Москвы. Неделю блевал в своей каютке, потом отошел, перебрался к нам в кубрик, помогал на палубе и в камбузе. Он был неплохой парень, и мы все к нему быстро привыкли, только неприятно было, что он все берет на карандаш. Особенно это раздражало Ивана. Как-то он сказал писателю, чтобы тот перестал записывать и держал бы в уме свои жизненные наблюдения. Но тот ответил, что все равно будет записывать, что бы Иван с ним ни сделал, пусть он его хоть побьет, но он писатель и будет записывать, невзирая ни на что. Тогда Иван примирлся.

Потом мы даже забыли, что он писатель, потому что он вставал на вахту вместе с нами и вместе ложился. Когда он появился на нашем сейнере, я перестал читать ребятам свои стихи, немного стеснялся — все же писатель, — а потом снова начал, потому что забыл, что он писатель, да, честно говоря, и не верилось, что он настоящий писатель. И он, как все, говорил: «Здоров, Гера», «Талант», «Рубай компот» и так далее. Но однажды я заметил, что он быстро наклонил голову, и улыбнулся, и взялся двумя пальцами за переносицу.

Вечером, когда он в силу своей привычки сидел на корме, съезжившись и уставившись стеклянными глазами в какую-то точку за горизонтом, я подошел к нему и сказал:

— Послушай, то, что я сочиняю, — это дрянь, да?

Он вздохнул и посмотрел на меня.

— Садись, — сказал он, — хочешь, я тебе прочитаю стихи настоящих поэтов?

Он стал читать и читал долго. Он как-то строго, как будто со сцены, объявлял фамилию поэта, а потом читал стихи. Кажется, он забыл про меня. Мне было холодно от стихов. Все путалось от них у меня в голове.

Жилось мне весело и шибко.
Ты шел в заснеженном плаще,
и вдруг зеленый ветер шипра
вздыхал косынку на плече...

Нет, я никогда не смогу так писать. И не понимаю, что такое «зеленый ветер шипра». Ветер не может быть зеленым, у шипра нет ветра. Может быть, стихи можно писать только тогда, когда поверишь во все невозможное, когда все тебе будет просто и в то же время каждый предмет будет казаться загадкой, даже спичечный коробок? Или во сне? Иногда я во сне сочиняю какие-то странные стихи.

— А вообще ты молодец, — сказал мне тогда писатель, — молодец, что пишешь и что читаешь ребятам, не стесняешься. Им это нужно.

На прощанье он записал мне свой адрес и сказал, что, когда я буду в Москве, я смогу прийти к нему в любое время с водкой или без водки, смогу у него жить столько, сколько захочу, и он познакомит меня с настоящими

поэтами. Он сказал нам всем, что пришлет свою книжку, но пока еще не прислал...

Мы спустились с корреспондентами в кубрик. Парень положил свою сумку на стол и открыл ее. Внутри был портативный магнитофон «Репортер».

— Мы из радио, — объяснил он. — Центральное радио.

— Издалека, значит, — посочувствовал Иван.

— Неужели в этом крошечном помещении живет шесть человек? — изумилась женщина. — Как же вы здесь помещаетесь?

— Ничего, — сказал Боря, — мы такие, портативные, так сказать.

Женщина засмеялась и навострила карандаш, как будто Боря преподнес уж такую прекрасную шутку. Наш писатель не записал бы такую шутку. Она, эта женщина, очень суежилась и как будто заискивала перед нами. А мы стеснялись, нам было как-то странно, как бывает всегда, когда в кубрик, где все мы притерлись друг к другу, проникают какие-то другие люди, удивительно незнакомые. Поэтому Иван насмешливо улыбался, а Боря все шутил, а я сидел на рундуке со стиснутыми зубами.

— Ну, хорошо, к делу, — сказал парень-корреспондент, пустил магнитофон и поднял маленький микрофончик. — Расскажите нам, товарищи, о вашей последней экспедиции на сайру, в которой вам удалось добиться таких высоких показателей. Расскажите вы, — сказал он Ивану.

Иван откашлялся.

— Трудности, конечно, были, — неестественно высоким голосом произнес он.

— Но трудности нас не страшат, — бодро добавил Боря.

Женщина с удивлением посмотрела на него, и мы все с удивлением переглянулись.

— Можно немного поподробнее? — веселеньким радиоголосом сказала женщина.

Иван и Борька стали толкать меня в бока: давай, мол, рассказывай.

— Ревела буря, дождь шумел, — сказал я, — в общем, действительно была предштормовая обстановка, ну а мы... а мы, значит... ловили сайру... и это...

— Ладно, — мрачно сказал корреспондент, — хватит пленку переводить. Не хотите, значит, рассказывать?

Нам было очень неудобно перед корреспондентами.

Действительно, мы вели себя по-свински. Люди ехали к нам издалека на своем «газике», промерзли, наверное, до костей, а мы не можем рассказать. Но что, в самом деле, можно рассказать? То, как опускают в воду ловушки для сайры и зажигают красный свет, а потом выбирают трос, и тут лебедку пустить нельзя, приходится все вручную, и трос сквозь рукавицы жжет тебе ладони, а потом дают синий свет, и сайра начинает биться, как бешеная, вспучивает воду, а на горизонте темное небо прорезано холодной желтой полосой, и там, за ней, бескрайняя поверхность океана, а в середине океана Гавайские острова, а дальше, на юг, встают грибы водородных взрывов, и эту желтую полосу медленно пересекают странные тени японских шхун, — про это, что ли, рассказывать? Но ведь про это очень трудно рассказать, да и нужно ли это для радио?

— Вам надо капитана дожидаться, — сказал Иван, — он все знает, у него цифры на руках...

— Ладно, дождемся, — сказал парень-корреспондент.

— Но вы, товарищи, — воскликнула женщина, — неужели вы ничего не можете рассказать о своей жизни?! Просто так, не для радио. Ведь это же так интересно! Вы на полгода уходите в море...

— Наше дело маленькое, хе-хе, — сказал Боря, — рыбу стране, деньги жене, нос по волне.

— Прекрасно! — воскликнула женщина. — Можно записать?

— Вы что, писатель? — спросил Иван подозрительно. Женщина покраснела.

— Да, она писатель, — мрачно сказал парень-корреспондент.

— Перестаньте, — сердито сказала она ему.

— Вот что, товарищи, — сказала женщина сурово, — нам говорили, что среди вас есть поэт.

Иван и Боря просияли.

— Точно, — сказали они. — Есть такой.

Вскоре выяснилось, что поэт — это я. Парень снова включил магнитофон.

— Прочтите что-нибудь свое.

Он сунул мне в нос микрофон, и я прочел с выражением:

Люблю я в жизни штормы, шквалы,
Когда она бурлит, течет,
Она не тихие причалы,
Она сплошной водоворот.

Это стихотворение, подумал я, больше всего подойдет для радио. Штормы, шквалы — романтика рыбацких будней.

Я читал, и Иван и Боря смотрели на меня, раскрыв рты, и женщина тоже открыла рот, а парень-корреспондент вдруг наклонил голову и улыбнулся так же, как тот мой друг, писатель, и потрогал пальцами переносицу.

— А вам нравятся стихи вашего товарища? — спросила женщина у ребят.

— Очень даже нравятся, — сказал Боря.

— Гера у нас способный паренек, — улыбнулся мне Иван, — так быстренько все схватывает, на работе — да? — раз-два, смотришь — стих сложил...

— Прекрасный текст, — сказал парень женщине. — Я записал. Шикарно!

— Вы думаете, он пойдет? — спросила она.

— Я вам говорю. То, что надо.

В это время сверху, с палубы, донесся шум.

— Вот капитан вернулся, — сказал Боря.

Корреспонденты собрали свое добро и полезли наверх, а мы за ними.

Капитан наш, Володя Сакуненко, стоял с судовыми документами под мышкой и разговаривал с чифом. Одновременно с нами к нему подошел боцман. Боцман очень устал за эти дни подготовки к выходу и даже на вид потерял энное количество веса. Корреспонденты поздоровались с капитаном, и в это время боцман сказал:

— Хочешь не хочешь, Васильич, а я свое дело сделал и сейчас пойду газ полить.

Володя, наш Сакуненко, покраснел и тайком показал боцману кулак.

— Что такое «газ полить»? — спросила любознательная женщина.

Мы все закашлялись, но расторопный чиф пояснил:

— Такой термин, мадам. Проверка двигателя, отгазовочка, так сказать...

Женщина понятиливо закивала, а парень-корреспондент подмигнул чифу: знаем, мол, мы эти отгазовочки, — и выразительно пощелкал себя по горлу. А Володя, наш Сакуненко, все больше краснел, снял для чего-то шапку, развесил свои кудри, потом спохватился, шапку надел.

— Скажите, капитан, — спросила женщина, — вы завтра уходите в море?

— Да, — сказал Володя, — только еще не знаем куда.

— Почему же?

— Да понимаете, — залепетал Володя, — начальство у нас какое-то не пунктуальное, или как это... не принципиальное, что ли... короче... не актуальное.

И совсем ему жарко стало.

— Ну, мы пойдем, Васильич, — сказали мы ему, — пойдем погуляем.

Мы спустились в кубрик, переоделись в чистое и отправились на берег, в город Петрово, в наш очередной Марсель.

Не сговариваясь, мы проследовали к почте. Ребята знали, что я жду письма от Люси. Ребята знают обо мне все, как я знаю все о каждом из них. Такая уж у нас служба.

В Петрове на главной улице было людно. Свет из магазинов ложился на скользкие обледенелые доски тротуара. В блинном зале «Утеса» уже сидел наш боцман, а вокруг него какие-то бичи. Корня среди них не было. Возле клуба мы встретили ребят с «Норда», который стоял с нами борт в борт. Они торопились на свою посудину.

На почте я смотрел, как Лидия Николаевна перебирает письма в ящичке «До востребования», и страшно волновался, а Иван и Боря поглядывали на меня исподлобья, тоже переживали.

— Вам пишут, — сказала Лидия Николаевна.

И мы пошли к выходу.

— Не переживай, Гера, — сказал Иван. — Плюнь!

Конечно, можно было бы сейчас успеть к автобусу на Фосфатогорск, а оттуда попутными добраться до Шлакоблоков и там все выяснить, поставить все точки над «и», но я не буду этого делать. Мне мешает мужская гордость, и потом, я не хочу ставить точки над «и», потому что завтра мы снова надолго уходим в море. Пусть уж она останется для меня такой — в перезвоне монист, плясуньей. Может, ей действительно художественная самодеятельность мешает написать письмо.

Я шел по мосткам, подняв воротник своей кожаной куртки и надвинув на глаза шапку, шел со стиснутыми зубами, и в ногу со мной вышагивали по бокам Иван и Боря, тоже с поднятыми воротниками и в нахлобученных на глаза шапках. Мы шли независимые и молчаливые.

На углу я увидел Корня. Долговязая его фигура отбрасывала в разные стороны несколько качающихся теней. Меньше всего мне хотелось сейчас видеть его. Я знал, что он остановит меня и спросит, скрипя зубами: «Герка, ты на меня зуб имеешь?» Так он спросил меня, когда мы встретились осенью на вечере в Доме моряка в Талом, на том вечере, где я познакомился с Люсей. Тогда мы впервые встретились после того, как Володя Сакуненко списал его с «Зюйда» на берег. Я думал, что он будет задираться, но он был в тот вечер удивительно трезвый и чистый, в галстуке и полуботинках, и, отведя меня в сторону, он спросил: «Гера, ты на меня зуб имеешь?» Плохой у меня характер: стоит только ко мне по-человечески обратиться, и я все зло забываю. Так и в тот раз с Корнем. Мне почему-то жалко его стало, и весь вечер мы с ним были взаимно вежливы, как будто он никогда не засовывал мне за шиворот селедку, а я никогда не бил его «под дых». Мы не поссорились даже из-за Люси, хотя приглашали ее напрапалую. Кажется, мы даже почувствовали друг к другу какую-то симпатию, когда ее увел с вечера стильный веселый малый, бурильщик Виктор Колтыга.

— В другое время я бы этому Витеньке устроил темную, — сказал тогда Корень, — но сегодня не буду: настроение не позволяет. Пойдем, Гера, товарищ по несчастью, есть у меня тут две знакомые шалаповочки.

И я, толком даже не разобрав, что он сказал, пошел с ним, а утром вернулся на сейнер с таким чувством, словно вывалялся в грязи.

С тех пор с Корнем мы встречаемся мирно, но я стараюсь держаться от него подальше: эта ночь не выходит у меня из головы. А он снова оборвался, и вечно пьян, и каждый раз, скрипя зубами, спрашивает: «Ты на меня зуб имеешь?» Видно, все перепуталось в его бедной башке.

Увидев нас, Корень покачнулся и сделал неверный шаг.

— Здорово, матросы, — проскрипел он. — Гера, ты на меня зуб имеешь?

— Иди-иди, Корень, — сказал Иван.

Корень потер себе варежкой физиономию и глянул на нас неожиданно ясными глазами.

— С Люськой встречаешься? — спросил он.

— Ступай, Корень, — сказал Боря. — Иди своей дорогой.

— Иду, матросы, иду. На камни тянусь. Прямым курсом на камни.

Мы пошли дальше молча и твердо. Мы знали, куда идем. Ведь это, наверное, каждому известно — что надо делать, когда любимая девушка тебе не пишет.

Мы перешли улицу и увидели нашего капитана и женщину-корреспондента. Володя, наш Сакуненко, будто и не остывал, шел красный как рак и смотрел перед собой прямо по курсу.

— Скажите, а что такое бичи? — спрашивала женщина.

— Бичи — это как бы... как бы... — бубнил капитан, — вроде бы морские тунейдцы, вот так.

Женщина воскликнула:

— Ох, как интересно!..

Изучает жизнь, понимаете ли, а Володя, наш Сакуненко, страдает.

Мы заняли столик в «Утесе» и заказали «Чечено-ингушского» и закуски.

— Не переживай, Гера, — сказал Иван. — Не надо.

Я махнул рукой и поймал на себе сочувственный взгляд Бори. Ребята сочувствовали мне изо всех сил, и мне это было приятно. Смешно, но я иногда ловлю себя на том, что мне бывает приятно оттого, что все на сейнере знают о моей сердечной ране. Наверное, я немного пошляк.

Оркестр заиграл «Каррамба синьоре».

— Вот, может быть, пойдем в Приморье, тогда зайдём во Владик, а там, знаешь, Иван, какие девочки!.. — сказал Боря, глядя на меня.

В зал вошел парень-корреспондент. Он огляделся и, засунув руки в карманы, медленно направился к нам. В правом кармане у него лежало что-то большое и круглое, похожее на бомбу.

— Не переживай, Гера, — умоляюще сказал Иван, — прямо сил моих нет смотреть на тебя.

— Можно к вам присесть, ребяташки? — спросил корреспондент.

Иван подвинул ему стул.

— Слушай, корреспондент, скажи ты этому дураку, какие на свете есть девочки. Расскажи ему про Москву.

— А, — сказал корреспондент, — «Чечено-ингушский»?

— Прямо сил моих нет смотреть, как он мается, — стонущим голосом продолжал Иван. — Дурак ты, Герка,

ведь их же больше, чем нас. Нам надо выбирать, а не им. Правильно я говорю?

— Точно, — сказал корреспондент. — Перепись доказала.

— А я ему что говорю? С цифрами на руках тебе доказывают, дурень...

— Для поэта любая цифра — это ноль, — улыбнулся мне корреспондент. — Друзья, передайте-ка мне нож.

Боря передал ему нож, и он вдруг вынул из кармана свою бомбу. Это был апельсин.

— Батюшки мои! — ахнул Боря.

Парень крутанул апельсин, и он покатился по столу, по скатерти, по пятнам от винегрета, сбил рюмку и, стукнувшись о тарелку с бараньей отбивной, остановился, сияя, словно солнышко.

— Это что, с материка, что ли, подарочек? — осторожно спросил Иван.

— Да нет, — ответил парень, — ведь мы на «Кильдине» сюда приплыли, верней, не сюда, а в Талый.

— А «Кильдин», простите, что же, пришел в Талый с острова Фиджи?

— Прямым курсом из Марокко, — захохотал корреспондент. — Да вы что, ребята, с неба свалились? «Кильдин» пришел из Владика битком набитый этим добром. Знаете, как я наелся.

— Эй, девушка, получите! — заорал Иван.

От «Утеса» до причала мы бежали, как спринтеры. Подняли на сейнере аврал. Мальчики в панике стаскивали с себя робы и натягивали чистые. Через несколько минут вся команда выскочила на палубу. Вахтенный Динмухамед проклинал свое невезение. Боря сказал ему, чтоб он зорче нес вахту, тогда мы его не забудем. Ребята с «Норда», узнав, куда мы собираемся, завывли, как безумные. Им надо было еще принимать соль и продукты и чистить посудину к инспекторскому смотру. Мы обещали занять на них очередь.

На окраине города возле шлагбаума мы провели голосование. Дело было трудное: машины шли переполненные людьми. Слух об апельсинах уже докатился до Петрова.

Наконец подошел «МАЗ» с прицепом, на котором были укреплены огромные панели, доставленные с материка. «МАЗ» шел в Фосфатогорск. Мы облепили прицеп, словно десантники.

Я держался за какую-то железяку. Рядом со мной висели Боря и Иван. Прицеп трясло, а иногда заносило вбок, и мы гроздьями повисали над кюветом. Пальцы у меня одеревенели от холода, и иногда мне казалось, что я вот-вот сорвусь.

В Фосфатогорске пересели в бортовую машину. Мимо неслись сопки, освещенные луной, покрытые редким лесом. Сопки были диковинные, и деревья покрывали их так разнообразно, что мне в голову все время лезли разные поэтические образы. Вот сопка, похожая на короля в горностаевой мантии, а вот кругленькая сопочка, словно постриженная «под бок»... Иногда в падах в густой синей тени мелькали одинокие огоньки. Кто же это живет в таких заброшенных падах? Я смотрел на эти одиокие огоньки, и мне вдруг захотелось избавиться от своего любимого ремесла, перестать плавать, и стать каким-нибудь бурильщиком, и жить в такой вот халупе на дне распадка вдвоем с Люсей Кравченко. Она перестанет относиться ко мне как к маленькому. Она поймет, что я ее постарше, там она поймет меня. Люся поймет мои стихи и то, что я не могу в них сказать. И вообще она будет понимать меня с полуслова, а то и совсем без слов, потому что слова бедны и мало что выражают. Может быть, и есть такие слова, которых я не знаю, которые все выражают безошибочно, может быть, они где-нибудь и есть, только вряд ли.

Машина довезла нас до развилки на зверосовхоз. Здесь мы снова стали «голосовать», но грузовики проходили мимо, и с них кричали:

— Извините, ребята, у нас битком!

Красные стоп-сигналы удалялись, но сверху, с сопки, к нам неслись новые фары, и мы ждали. Крутящийся на скатерти апельсин вселил в меня надежду. Путь на Талый лежит через Шлакоблоки. Может быть, мы там остановимся, и, может быть, я зайду к ней в общежитие, если, конечно, мне позволит мужская гордость. Все может быть.



4

ЛЮДМИЛА КРАВЧЕНКО

Какой-то выдался пустой вечер. Заседание культурно-бытовой комиссии отложили, репетиция только завтра. Скучно.

— Девки, кипяточек-то вас дожидается, — сказала И. Р., — скажите мне спасибо, все вам приготовила для постирушек.

Ох уж эта И. Р. — вечно она напоминает о разных неприятностях и скучных обязанностях.

— Я не буду стирать, — сказала Маруся, — все равно не успею. У Степы сегодня увольнительная.

— Может, пятая комната завтрашний день нам уступит? — предположила Нина.

— Как же, уступит, дожидайтесь, — сказала И. Р.

Стирать никому не хотелось, и все замолчали. Нинка вытащила свое парадное — шерстяную кофточку и вельветовую юбку с огромными карманами, капроны и туфельки — и разложила все это на кровати. Конечно, собираться на вечер гораздо приятнее, чем стирать.

— Нет уж, девушки, — сказала я, — давайте постираем хотя бы носильное.

Мне, может быть, больше всех не хотелось стирать, но я сказала это потому, что была убеждена: человек должен научиться разумно управлять своими желаниями.

— Да ну тебя, Люська, — надула губы Нинка, но все же встала.

Мы переоделись в халатики и пошли в кубовую. И. Р. действительно все приготовила: титан был горячий, корыта и тазы стояли на столах. Мы закрыли дверь на крючок, чтобы ребята не лезли в кубовую со своими грубыми шутками, и принялись за работу.

Клубы пара сразу заполнили комнату. Лампочка под потолком казалась расплывшимся желтым пятном. Девочки смеялись, и мне казалось, что смех их доносится откуда-то издали, потому что сквозь густой желтый пар они были почти не видны. Отчетливо я видела только голые худенькие плечи Нины. Она посматривала на меня. Она всегда посматривает на меня в кубовой или в бане, словно сравнивает. У меня красивые плечи, и меня смешат Нинкины взгляды, но я никогда не подам виду, потому что знаю: человека характеризует не столько внешняя, сколько внутренняя красота.

Мимо меня проплыла розовая полуголая и огромная Сима. Она поставила таз под кран и стала полоскать что-то полосатое, я не сразу догадалась — это были матросские тельняшки. Значит, Сима завела себе кавалера, поняла я. Странная девушка эта Сима: об ее, мягко говоря, увлечениях мы сразу узнаем в кубовой во время стирки. В ней, в Симе, гнездятся пережитки домостроя. Она унижается перед мужчинами и считает своим долгом стирать

их белье. Она находит в этом даже какое-то удовольствие, а я... Недавно я читала, что в скором времени будет изобретено и внедрено все необходимое для раскрепощения женщины от бытовых забот и женщина сможет играть бóльшую роль в общественной жизни. Скорее бы пришли эти времена! Если я когда-нибудь выйду замуж...

Сима растянула тельняшку.

— Ну и ручки у твоего дружка! — воскликнула Маруся.

— Такой обнимет — закачаешься! — засмеялся кто-то, и все засмеялись.

Началось. Сейчас девушки будут болтать такое... Прямо не знаю, что с ними делать.

На этот раз я решила смолчать, и пока девушки болтали такое-растакое, я молчала, и под моими руками, как живое, шевелилось, чавкало, пищало бело-розово-голубое белье, kloкотала вода и радужными пузырями вставала мыльная пена, а голова моя кружилась и в глазах было темно. Мне было нехорошо.

Я вспомнила тот случай в Краснодаре, когда Владимир снял свой синий торгашеский халат и стал приставать ко мне. Чего он только не выделял, как не ломал мне руки и не сгибал меня! Можно было закричать, но я не закричала. Это было унижительно — кричать из-за такого скота. Я боролась с ним, и меня душило такое возмущение и такая злоба, что, попадись мне в руку кинжал, я могла бы убить его, словно испанка. И только в один момент мне стало нехорошо, как вот сейчас, и потемнело в глазах, подогнулись ноги, но через секунду я снова взяла себя в руки. Я выбежала из конторки. Света и Валентина Ивановна ничего не поняли, столики все уже были накрыты. Как раз за окнами шел поезд, и фужеры дребезжали, и солнечные пятнышки прыгали на потолке, а приборы блестя в идеальном порядке, но стоит только открыть вон ту дверь — и сюда хлынет толпа из зала ожидания, и солнечные пятнышки запрыгают на потолке словно в панике, а по скатертям поползут темные пятна пива, а к концу дня — господи! — мерзкие кучки виногрета с натыканными в него окурками... Я вздрогнула, мне показалось, что я с ног до головы облеплена этим гадким ночным виногретом, а сзади скрипнула дверь, — это, видимо, вышел Владимир, еще не успевший отдышаться, и я сорвала на колку и фартук и, ничего не говоря Свете и Валентине

Ивановне, прошла через зал и скрылась. Больше они меня не увидят, Света и Валентина Ивановна, и я их больше не увижу. Жалко: они хорошие. Но зато я больше не увижу масляную рожу Владимира, этого спившегося, обожравшегося и обворовавшегося по мелочам человека. Надо начинать жизнь сначала, думала я, пока шла по городу. Право, не для того я кончала десятилетку, чтобы служить в буфете. Зарботки, конечно, там большие, но зато каждый пиджон норовит к тебе пристать.

— Ну-ну, зачем же реветь? — сказал кто-то прямо над ухом.

Я увидела мужчину и шарахнулась от него, побежала как сумасшедшая. На углу я оглянулась. Он был молод и высок, во рту у него был листок платана, он удивленно смотрел на меня и крутил пальцем у виска. Может быть, с ним мне и стоит связать свою судьбу, подумала я, но может быть, он такой же, как Владимир? Я завернула за угол, и этот высокий светлоглазый парень навсегда исчез из моей жизни.

По радио шла передача для молодежи. Пели мою любимую песню:

Если хочешь ты найти друзей,
Собирайся с нами в путь скорей,
Собирайся с нами в дальний путь,
Только песню не забудь...

В дорогу! В дорогу! Есть целина, и Братск, и стройка Абакан—Тайшет, а можно уехать и дальше, на Дальний Восток, вот объявление — требуются сезонницы для работы на рыбокомбинате. Я вспомнила множество фильмов, и песен, и радиопередач о том, как уезжает молодежь и как там, на Востоке, вдалеке от насиженных мест, делает большие дела, и окончательное решение созрело во мне.

Да, там, на Востоке, жизнь моя пойдет иначе, и я найду там применение своим силам и энергии. И там, возможно, я вдруг увижу высокого светлого моряка, и он долго не будет решаться подойти ко мне, а потом подойдет, познакомится, будет робеть и краснеть и по ночам сидеть под моими окнами, а я буду совмещать работу с учебой и комсомольской работой и как-нибудь сама задам ему один важный вопрос и сама поцелую его...

— Ничего! — закричала Сима. — Я на своего Мишеньку не обижаюсь!

И я увидела в тумане, как потянулось ее большое розовое тело.

— Тыфу ты, — не выдержала я. — И как тебе только не совестно, Серафима? Сегодня Миша, вчера Толя, и всем ты белье стираешь.

— А ты бы помолчала, Люська! — Сима, обвязанная по пояс тельняшкой, подошла ко мне и уперла руки в бока. — Ты бы уж лучше не чирикала, а то вот расскажу твоему Эдику про твоего Витеньку, а твоему Витеньке про твоего Герочку, а про длинного из Петровского порта забыла?

— Да уж, Люся, ты лучше не притворяйся, — продолжала Нинка, — ты со всеми кокетничаешь, ты даже с Колей Калчановым на собрании кокетничала.

— Я не кокетничала, а критиковала его за внешний вид. И если тебе, Нина, нравится этот стилига Калчанов, то это не дает тебе права выдумывать. К тому же одно дело кокетничать, а другое дело... белье для них стирать. У меня с мальчиками только товарищеские отношения. Я не виновата, что я им правлюсь.

— А тебе разве никто не нравится, Людмила? — спросила Маруся.

— Я не для этого сюда приехала! — крикнула я. — Мальчиков и на материке полно!

Правда, я не для этого сюда приехала.

Еще с парохода я увидела на берегу много ребят, но, честное слово, я меньше всего о них думала. Я думала тогда, что поработаю здесь, осмотрюсь и, может быть, останусь не на сезон, а подольше и, может быть, приобрету здесь хорошую специальность, ну, и немного, очень отвлеченно, думала о том высоком светлоглазом парне, который, наверное, решил, что я сумасшедшая, который исчез для меня навсегда. В тот же день вечером со мной познакомился бурильщик Виктор Колтыга. Оказалось, что он тоже из Краснодара. Это было очень странно, и я провела с ним целый вечер. Он очень веселый и эрудированный, только немного несобранный.

— Чего вы на меня набросились? — крикнула я. — У вас только мальчишки и на уме! Никакого самолюбия!

— Дура ты, Люська, — засмеялась Сима, — эдак ты даже при твоей красоте в девках останешься. Этот несобранный, другой несобранный. Чем, скажи, японец плох?

И чемпион, и одевается стильно, и специальность хорошая — радиотехник.

— Ой, да ну вас! — чуть не плача, сказала я и ушла из кубовой.

Довели меня эти проклятые девчонки. Я вошла в комнату и стала развешивать белье. Кажется, я плакала. Может быть. Ну что делать, если парни все действительно какие-то несобранные. Вместо того чтобы поговорить о чем-нибудь интересном, им бы только хватать руками.

Я зацепляла прищепками лифчики и трико и чувствовала, что по щекам у меня текут слезы. Отчего я плакала? От того, что Сима сказала? Нет, для меня это не проблема, вернее, для меня это второстепенная проблема.

Я вытерла лицо, потом подошла к тумбочке и намазала ладони кремом «Янтарь» (мажь не мажь, все равно ладошками орехи можно колоть), причесалась, губы я не мажу принципиально, вынула томик Горького и села к столу.

Я не знаю, что это за странный был вечер. Началось с того, что я чуть не заплакала, увидев Калчанова одного за углом дома. Это было странно, мне хотелось оказать ему помощь, я была готова сделать для него все, несмотря на его подмигивания; а потом — разговоры в кубовой, я не знаю, может быть, пар, жара и желтый свет действуют так, или сопки, синие и серебряные, выгнутые и как будто спокойные, действуют так, но мне все время хочется совершить что-то необычное, может быть, дикое, я еле держу себя в руках; а сейчас я посмотрела на свое висящее белье — небольшая кучка, всего ничего — и снова заплакала: мне стало страшно оттого, то я такая маленькая, вот я, вот белье, а вот тумбочка и койка, и одна-одинешенька, бог ты мой, как далеко, и что это за странный вечер, и тень от Калчанова на белой стене. Он бы понял меня, этот бородатый Коля, но сопки, сопки, сопки, что в них таится и на что они толкают? Скоро придет Эдик, и опять разговоры о любви и хватание руками, мученье да и только, и все ребята какие-то несобранные. Я не пишу ни Вите, ни Гере, ни Вале, я дрянь порядочная, и никого у меня нет, в девках останусь. И как там моя сестра со своими ребятишками? Ой! Я ревела!

Уже слышались шаги по коридору и смех девчат, и я усилием воли взяла себя в руки. Я вытерла глаза и открыла Горького. Девочки вошли с шумом-гамом, но, уви-

дев, что я читаю художественную литературу, стали говорить потише.

На счастье, мне сразу попала хорошая цитата. Я подошла к тумбочке, вынула свой дневник и записала туда эту цитату: «Если я только для себя, то зачем я?» Неплохая, по-моему, цитата, помогающая понять смысл жизни.

Тут я заметила, что Нинка на меня смотрит. Стоит, дурочка, в своей вельветовой юбке, а кофточка на одном плече. Смотрит на мой дневник. Недавно она сожгла свой дневник. Перед этим приключилась история. Она оставила дневник на тумбочке, и девчата стали его читать. Дневник Нины, в общем, был интересным, но у него был крупный недостаток: там были только мелкие личные переживания. Девчата все растрогались и поражались, какая наша Нинка умница и какой у нее красивый слог. Особенно им понравились Нинины стихи:

Восемнадцать! Чего не бывает
В эти годы с девичьей душой,
Все нутро по любви изнывает,
Да и взгляд мой играет мечтой.

Я сказала, что хотя стихи и хороши по рифме, все же они узколичные и не отражают настроений нашего поколения. Девочки стали спорить со мной. Спорили мы очень шумно и вдруг заметили, что в дверях стоит Нина.

Нина, как только мы к ней повернулись, сразу разревелась и побежала через всю комнату к столу, выхватила дневник из рук И. Р. и побежала, прижав его к груди, назад к двери. Она бежала и громко редела.

Она сожгла свой дневник в топке «титана». Я заглянула в кубовую и увидела, что она сидит прямо на полу перед топкой и смотрит, как коробятся в огне картонные корки дневника, а промокашка на голубой шелковой ленточке свисала из топки.

Сима сварила для Нины варенье из брусники, поила ее чаем, а мы все в ту ночь не спали и потихоньку смотрели с кроватей, как Нина и Сима при свете ночника пьют чай и шепчутся, прижавшись друг к другу.

Скоро все это забылось и все стало как и раньше: над Ниной подшучивали, над ее юбкой тоже, — а вот сейчас, поймав ее взгляд, я вспомнила, как она бежала и какая она была прекрасная. Я пригласила ее сесть рядом, и прочла ей эту прекрасную цитату Алексея Максимовича

Горького, и показала ей другие цитаты, и дала ей немного почитать свой дневник. Я бы не стала реветь, если бы мой дневник прочли все, потому что я не стыжусь своего дневника: это типичный дневник молодой девушки наших дней, не какой-нибудь узколичный дневник.

— Хороший у тебя дневник, — вздохнула Нина и обняла меня за плечи. Она положила свою руку мне на плечи неуверенно, наверное, думала, что я отодвинусь, но я знала, как хочется ей со мной подружиться, и почему-то сегодня мне захотелось ей сделать что-нибудь приятное, и я тоже ее обняла за ее худенькие плечи.

Мы сидели, обнявшись, на моей койке, и Нина тихонько рассказывала мне про Ленинград, откуда она приехала и где прожила все свои восемнадцать лет, про Васильевский остров, про Мраморный зал, куда она ходила танцевать, и как после танцев зазевавшиеся мальчишки густой толпой стоят возле дворца и разглядывают выходящих девочек и в темноте белеют их нейлоновые рубашки, и, как ни странно, вот таким образом к ней подошел он, и они пять раз встречались, ели мороженое в «Лягушатнике» на Невском и даже один раз пили коктейль «Привет», после чего два часа целовались в парадном, а потом он куда-то исчез; его товарищи сказали, что его за что-то выгнали из университета и он уехал на Дальний Восток, работает коллектором в геологической партии, и она уехала сюда, а почему именно сюда? — может быть, он бродит по Сахалину или в Приморье?

— Гора с горой не сходится, — сказала я ей, — а человек с чело...

— Можно к вам, девчата? — послышался резкий голос, и в комнату к нам вошел Марусин Степа, старший сержант.

Мы засмотрелись на него. Он шел по проходу между койками, подтянутый, как всегда, туго перетянутый ремнем, и, как всегда, шутил:

— Встать! Проверка личного состава!

— Как успехи на фронте боевой и политической подготовки?

— Претензии? Личные просьбы?

Как всегда, он изображал генерала.

Маруся из своего угла молча смотрела на него. Глаза ее, как всегда, заблестели, и губы, как всегда, складывались в улыбку.

— Ефрейтор Рукавишникова, — сказал ей Степа, — подготовиться к выполнению особого задания. Форма одежды — зимняя парадная. Поняли? Повторите!

Но Маруся ничего не сказала и ушла за ширму переодеваться.

Пока она возилась за ширмой, Степа разгуливал по комнате, блестели, как ножки рояля, его сапоги и ременная бляха. На нем сегодня была какая-то новая форма: короткая теплая куртка с откинутым назад капюшоном из синего искусственного меха.

— Какой ты, Степа, сегодня красивый, — сказала И. Р.

— Новая форма для нашего рода войск, — сказал Степа и оправил складки под ремнем. — Между прочим, девчата, завтра на материк лечу.

— Больно ты здорово врать стал, — сказала Сима.

Она презирала таких, как Степа, невысоких стройненьких крепышей.

— Точно, девчата, лечу. Из Фосфатки до Хабаровска на «ИЛ-14», а оттуда на реактивном до столицы, а там уж...

— Что ты говоришь? — тихо сказала Маруся, выходя из-за ширмы.

Она уже успела надеть выходное платье и все свои стекляшки. Это была ее слабость — разные стекляшечки, огромные клипсы, бусы, броши.

— Так точно, лечу, — вдруг очень тихо сказал Степа и осмотрел всю комнату. — Мамаша у меня померла. Скончалась, в общем. Третьего дня телеграмма была. Вот, отпускает командование. Литер выписали, суточные. Все как положено.

Маруся села на стул.

— Что ты говоришь? — опять сказала она. — Будет тебе...

Степа достал портсигар.

— Разрешите курить? — щелкнул портсигаром и посмотрел на часы. — Через два дня буду на месте. Вчера родичам телеграмму дал, чтоб без меня не хоронили. Ничего, подождать могут. А, девчата? Даже если нелетная погода будет, все равно. Как считаете, девчата? Время-то зимнее, можно и подождать с этим делом, а?

Маруся вскочила, схватила свою шубу и потащила сержанта за рукав.

— Пойдем! Пойдем, Степа! Пойдем!

Она первая вышла из комнаты, а Степа, задержавшись в дверях, взял под козырек:

— Счастливо оставаться, девчата! Значит, передам от вас привет столице.

Мы все молчали. Дежурная И. Р. накрывала к столу, было время ужина. На кровати у нее, заваленная горой подушек, стояла кастрюля. И. Р. сняла подушки и поставила кастрюлю на стол.

— Ничего, успеет, — сказала Сима, — время-то действительно зимнее, могут подождать.

— Конечно, могут, — сказала И. Р., — летом — другое дело, а зимой могут.

— Как вы можете так говорить? — чуть не закричала Нинка. — Как вы все так можете говорить?

Я молчала. Меня поразил Степа, поразила на этот раз его привычная подтянутость и весь его вид — «на изготовку», его пронзительный, немного даже визгливый голос, и весь его блеск, и стук подкованных каблучков, и портсигар, и часы, и новая форма, и потом вдруг тихие его слова, а Марусины стекляшки показались мне сейчас не смешными, а странными, когда она стояла перед своим женихом, а желтый лучик от броши уходил вверх, к потолку.

— Масло кончилось, — сказала И. Р., — надо, девки, сходить за маслом.

— Сходишь, Розочка? — ласково спросила Сима.

— Ага, — сказала Роза и встала.

— Розка вчера бегала за подушечками, — пробашила И. Р.

— Ну, я схожу, — сказала Сима.

— Давайте я быстро сбегаю, — предложила Нина.

Я оделась быстрее всех и вышла. В конце коридора танцевали друг с другом два подвыпивших бетонщика. Дверь в одну комнату была открыта, из нее валили клубы табачного дыма, слышалась музыка и громкие голоса парней. Они отмечали получку.

— Людмила, королева! — закричал один бетонщик. — Иди сюда!

— Эй, культурная комиссия! Даешь культуру! — крикнул второй.

Я распахнула дверь на крыльцо и выскочила на обжигающий мороз. Дверь за мной захлопнулась, и сразу наступила тишина. Это был как будто совсем другой мир

после духоты и шума нашего общежития. Луна стояла высоко над сопками в огромном черном небе. Над низкими крышами поселка белели под луной квадратные колонны клуба. Где-то скрипели по наезженному снегу тихие шаги.

Я пошла по тропинке и вдруг услышала плач. Спиной ко мне на заснеженном бревне сидели Степа и Маруся. Они сидели не рядом, а на расстоянии, две совсем маленькие фигурки под луной, а от них чуть покачивались длинные тени. Маруся всхлипывала, плечи Степы тряслись. Мне нужно было пройти мимо них, другого пути к магазину не было.

— Не плачь, — сказал Степа сквозь слезы. — Ну че ты плачешь? Я ей писал о тебе, она о тебе знала.

— И ты не плачь. Не плачь, Степушка, — причитала Маруся, — успеешь доехать. Время зимнее, не убивайся.

А я не помню своей мамы, вернее, почти не помню. Помню только, как она отшлепала меня за что-то. Не больно было, но обидно. Когда два года назад умерла наша тетя, я очень сильно горевала и плакала. Тетю я помню отлично, тетя для нас с сестрой была как мама. А где сейчас наш отец? Где он бродит, как работает? Кто-то видел его в Казахстане. Как его разыскать? Его необходимо разыскать, думала я, мало ли что — авария или болезнь.

Я шла быстро — я знала кратчайшую дорогу через всю путаницу переулков, улиц и тупиков — и вскоре вышла на площадь.

Огромная белая горбатая площадь лежала передо мной. Когда-нибудь, и может быть скоро, эта площадь станет ровной и ветер будет завивать снег на ее асфальте, красивые высокие дома окружают ее, а в центре будет стоять большой гранитный памятник Ильичу, летом здесь будут проходить молодежные гулянья, а пока что эта площадь не имеет названия, она горбата, как край земли, и пустынна.

Только где-то далеко маячили фигурки людей, а на другой стороне светились окна продуктового магазина и закускойной.

Я почти бежала по тракторной колее, мне хотелось скорее пересечь площадь. В центре, где из снега торчало несколько саженцев и фигура пионера-горниста из серого цемента, я остановилась и посмотрела на гряду сопки.

Отсюда можно видеть Муравьевскую падь и огоньки машин, спускающихся по шоссе к нашему поселку.

На этот раз по шоссе вниз двигалась целая вереница огней, какой-то, видимо дальний, караван шел к нашему поселку. Я люблю смотреть, как оттуда, из мерцающей темноты гор, спускаются к нам огоньки машин. А в непогоду, в метель, когда сопки сливаются с небом, они появляются оттуда как самолеты.

На краю площади из снега торчат почернелые столбы. Говорят, что раньше эти столбы подпирали сторожевую вышку. Говорят, что когда-то давно, еще во времена Сталина, на месте нашего поселка был лагерь заключенных. Просто трудно себе представить, что здесь, где мы сейчас работаем, танцуем, ходим в кино, смеемся друг над другом и ревим, когда-то был лагерь заключенных. Я стараюсь не думать о тех временах, уж очень это непонятные для меня времена.

В магазине было много народу: день получки. Все брали помногу и самое лучшее. Я заняла очередь за маслом и пошла в кондитерский отдел посмотреть, чего бы купить девочкам к чаю, все-таки сегодня получка. И никаких складчин. Это я их сегодня угощаю на свои деньги. Пусть удивятся.

— Разрешите? — тронула меня за плечо какая-то пожилая, лет тридцати пяти, женщина. — Можно посмотреть? Сколько это стоит? Я плохо вижу. А это? А это?

Она совалась то туда, то сюда, водила носом прямо по стеклу витрины. Какая-то странная женщина: в платке, а сверху на платке городская шляпка, старенькая, но фасонистая. Она так вокруг меня мельтешила, что я прямо выбрать ничего не могла.

— Хочешь компоту? Ты любишь компот? — спросила она, нагнувшись, и я увидела, что она держит за руку маленького закутанного то ли мальчика, то ли девочку, только нос торчит да красные щеки.

— Ага, — сказал ребенок.

— Дайте нам компоту триста граммов, — обратилась женщина к продавщице.

Продавщица стала взвешивать компот, пересыпала в совке урюк, сушеные яблочки и чернослив, а женщина нетерпеливо топталась на месте, взглядывала на продавщицу, на весы, на витрину, на меня, на ребенка.

— Сейчас придем домой, Боренька, — приговаривала

она. — Отварим компоту и съедим, да? Сейчас нам тетя отпустит, и мы пойдем домой... — И улыбнулась какой-то неуверенной близорукой улыбкой.

У меня вдруг прямо защемило все внутри от жалости к этой женщине и мальчику, просто так, не знаю почему, наверное, нечего было ее и жалеть, может, она вовсе и не несчастная, а, наоборот, просто мечтает о своей теплой комнате, о том, как будет есть горячий компот вместе с Борей, а Боря скоро вырастет и пойдет в школу, а там — время-то летит — глядишь, и школу окончит... Я раньше не понимала, почему люди с таким значением говорят: «Как время-то летит», — почему это всегда не пустые слова, а всегда в них или грусть, или неукротимые желания, или бог весть что, а сейчас мне вдруг показалось, что мне открылось что-то в этой щемящей жалости к смешной закутанной парочке, мечтающей о компоте.

Прямо не знаю, что сегодня со мной происходит. Может, это потому, что у меня сегодня оказалось столько пустого времени: заседание комиссии отложили, репетиция только завтра, Эдик еще не приехал. Прямо не знаю, какая-то я стала рева и размазня. Мне вдруг захотелось такого Бореньку, и идти с ним домой, и нести в маленьком кулечке триста граммов компота.

Нагруженная покупками, я вышла из магазина. Мимо шла машина, полная каких-то веселых парней. Я услышала, как в кузове заколотили кулаками по крыше кабины. Машина притормозила, в воздухе мелькнули меховые унты, и передо мной вырос улыбающийся — рот до ушей — высокий парень.

— Привет! — сказал он. — Дорогая прима, не бойсь! Подарочек от восторженных поклонников вашего уважаемого таланта.

И протянул мне — господи! — огромный-преогромный, оранжевый-преоранжевый, самый что ни на есть настоящий, всамделишный апельсин.



5

КОРЕНЬ

С утра я прихватил с собой пару банок тресковой печени: чувствовали мои кишки, чем все это дело кончится.

Пятый склад был у черта на рогах, за лесной биржей, возле заброшенных причалов. Неприятная местность для глаза, надо сказать. Иной раз забредешь сюда, так прямо выть хочется: ни души, ни человека, ни собаки, только кучи ржавого железа да косые столбы. Болтали, что на-

мечена модернизация этих причалов. И впрямь: недалеко от склада сейчас стоял кран с чугунной бабой, четырехкубовый экскаватор и два бульдозера. Но работы, видно, еще не начались, и пока что здесь было все по-прежнему, за исключением этой техники. Пока что сюда направили нас для расчистки пятого склада от металлолома и мусора.

Умница я. Не просчитался я с этими банками. Часам к трем Вовик, вроде бы наш бригадир, сказал:

— Шабашьте, матросы! Айда погреемся! У меня для вас есть сюрприз.

И достает из своего рюкзака двух «гусей», две таких симпатичных черных бутылочки по ноль семьдесят пять. Широкий человек Вовик. Откуда только у него гроши берутся для широты размаха?

Сыграли мы отбой, притащили в угол какие-то старые тюфяки и драное автомобильное сиденье, забаррикадировались ящиками — в общем, получилось купе первого класса.

Вовик открыл свои бутылочки, я выставил свои банки, а Петька Сарахан вытащил из штанов измятый плавленый сыр «Новый».

— Законно, — сказал он. — Не дует.

Короче, устроились мы втроем очень замечательно, прямо получился итеэровский костер. Сидим себе, выпиваем, закусуываем. Вовик, понятно, чувствует себя королем.

— Да, матросы, — говорит, — вот было времечко, когда я из Сан-Франциско «либертосы» водил, яичный порошок для вас, сопляки, таскал.

— Давай, — говорим мы с Петькой, — рассказывай.

Сто пять раз мы уже слышали про то времечко, когда Вовик «либертосы» водил, но почему еще раз не доставить человеку удовольствие? К тому же травит Вовик шикарно. Был у нас в лесной командировке на Нере один хлопчик, он нам по ночам рбманы тискал про шпионов и артисток. Ну, так Вовик ему не уступит, честно. Прямо видишь, как Вовик гуляет по Сан-Франциско с двумя бабами — одна брюнетка, другая еще черней, — прямо видишь, понял, как эти самые «либертосы» идут без огней по проливу Лаперуза, а япошки-самураи им мины подкладывают под бока.

Не знаю, ходил ли Вовик в самом деле через океан,

может, и не ходил, но рассказывает он здорово, мне бы так уметь.

— ...и страшной силы взрыв потряс наше судно от килы до клотиков. В зловещей темноте завывли сирены. — Глаза у Вовика засверкали, как фонари, а руки задрожали. Он всегда начинал нервничать к концу рассказа и сильно действовал на Петьку, да и на меня, ей-ей.

— Суки! — закричал Петька по адресу самураев.

— Суки они и есть, — зашипел Вовик. — Понял, как они нейтралитет держали, дешевки?

— Давай дальше, — еле сдерживаясь, сказал я, хотя знал, что будет дальше: Вовик бросится в трюм и своим телом закроет пробоину.

— Дальше, значит, было так, — мужественным голосом сказал Вовик и стал закуривать. Тут, в этом месте, он закуривает долго-долго, прямо все нервы из тебя выматывает.

— Вот они где, полюбуйтесь, — услышали мы голос и увидели прямо над нами Остапенко, инспектора из портового управления. С ним подошел тот инженер, что выписывал нам наряд в этот склад.

— Так, значит, да? — спросил Остапенко. — Вот так, значит? Таким, значит, образом?

Не люблю типов, что задают такие глупые вопросы. Что он, сам не видит, каким, значит, образом?

— Перекур у нас, — сказал я.

— Водочкой, значит, балуетесь, богодулы? Кают-компанию себе устроили?

— Кончайте вопросы задавать, — сказал я. — Чего надо?

— Вам, значит, доверие, да? А вы, значит, так?

Тогда я встал.

— Или это работа для моряков? — закричал я, перебираясь через ящики поближе к Остапенко. — Мать вашу так, как используете квалифицированные кадры?!

Инженер побледнел, а Остапенко побагровел.

— Ты меня на горло не бери, Костюковский! — зарорал он на меня. — Ты тут демагогией не занимайся, тунеядец!

И пошел:

— На судно захотел, да? На сейнерах у нас сейчас таким, как ты, места нет, понял? На сейнерах у нас сейчас только передовые товарищи. А твои безобразия, Ко-

стюковский, всем уже надоели. Так, смотри, и из резерва спишем...

— Чуткости у вас нет, — попытался взять я его на понт.

Ух ты, как взвился!

— Чуткость к тебе проявляли достаточно, а что толку? Не понимаешь ты человеческого отношения. Тебе что — абы zenки налить. С «Зюйда» тебя списали, с плавбазы тоже, на шхуне «Пламя» и трех месяцев не проплавал...

— Ну, ладно, ладно, — сказал я, — спокойно, начальник.

Мне не хотелось вспоминать о шхуне «Пламя».

— Ты думаешь, так тебе просто и пройдет эта история с каланами? — понизил голос Остапенко, и глаза у него стали узкими.

— Эка, вспомнили! — свистнул я, но, честно говоря, стало мне вдруг кисло от этих его слов.

— Мы всё помним, Костюковский, решительно всё, имей это в виду.

Подошел Вовик.

— Простите, — сказал он инженеру, — вы нам дали на очистку этих авгиевых конюшен три дня и три ночи, да? Кажется, так?

— Да-да, — занервничал инженер. — Три рабочих смены, вот и все. Да я и не сомневаюсь, что вы... это товарищ Остапенко решил проверить...

— Завтра к концу дня здесь будет чисто, — картинно повел рукой Вовик. — Все. Повестка дня исчерпана, можете идти.

Когда начальники ушли, мы вернулись в свое «купе», но настроение уже было испорчено начисто. Выпили мы и закусили по следующему кругу без всякого вдохновения.

— А чего это он тебя каланами пугал? — скучно спросил Вовик.

— Да там была одна история у нас на шхуне «Пламя», — промямлил я.

— А чего это такое — каланы? — спросил Петька.

— Зверек такой морской, понял? Не котик и не тюлень. Самый дорогой зверь, если хочешь знать. Воротник из калана восемь тыщ стоит на старые деньги, понял?

Ну, стрéльнули мы с одним татаринoм несколько штукeк этой твари. Думали во Владике барыгам забодать.

— А вас, значит, на крючок? — усмехнулся Вовик.

Вот оно, подошло. Шибануло. Мне стало горячо, и в сердце вошел восторг.

— Хотите, ребята, расскажу вам про этот случай?

Мне показалось, что я все смогу рассказать подробно и точно и во всех выражениях, как Вовик. Как ночью в кубрике мы сговаривались с татаринoм, а его глазки блестяли в темноте, как будто в голове у него вращалась луна. Потом — как утром шхуна стояла вся в тумане и только поверху был виден розовый пик острова. Как мы отвязали ялик и так далее, и как плавают эти каланчики, лапки кверху, и какие у них глаза, когда мелкокалиберку засовываешь в ухо.

— Хотите, ребята, я вам всю свою жизнь расскажу? — закричал я. — Сначала? Законно?

— Пошли, Корень, — сказал Вовик, — по дороге расскажешь.

Он встал.

Своих я не бью даже за мелкое хамство. За крупное уже получают по мордам, а мелкое я им спускаю. В общем, я добр. Меня, наверное, поэтому и зовут Корнем. Корни ведь добрые и скромные, а? Ну, пошли, пошли, матросы! Потянемся на камни, храбрецы! Рассказывать, да? Ну, ладно... Родился я, Валентин Костюковский, в одна тысяча девятьсот тридцать втором году, представьте себе, матросы, в Саратове...

Мы вышли из склада и, взявшись под руки, зашагали мимо склада к шоссе. Было уже тепло и так морозно, что весь мой восторг улетучился без звука.

В городе Вовик от нас отстал, побежал куда-то по своим адмиральским делам, а мы с Петьюкой, недолго думая, сделали поворот «все вдруг» на Стешу. У Стешиной палатки стояло несколько знакомых, но контингент был такой, что мы сразу поняли: здесь нам не обломится. Тогда мы пошли вдоль забора, вроде бы мы и не к Стеше, чтоб эти ханурики видели, что мы вовсе не к Стеше, а просто у нас легкий променад с похмелья, а может, мы и при деньгах.

За углом мы перелезли через забор и задами прошли к палатке. Стеша открыла на стук, и я первый протиснулся в палатку и обхватил ее за спину.

— Валька, — только и прошептала она и, значит, ко мне — целоваться. — Придешь сегодня? Придешь? — шептала Стеша.

Уже с минуту мальчишки снаружи стучали мелочью в стекло, а потом кто-то забарабанил кулаком.

— Эй, Стеша! — кричали оттуда.

А мой Петька скрипел дверью, совал свой нос, хихикал, зараза, над этой кинематографией.

Стеша отогнула занавеску и крикнула:

— Подождите, моряки! Тару сдаю!

И опять ко мне. Тут Петька не выдержал и влез в палатку.

— Прощу прощения! Товарищ Корень не имел честь сюда зайти? А, Валя, это ты, друг! Какая встреча!

Стеша отошла от меня. Мы сели на ящики и посмотрели на нее.

— Стеша, захмели нас с товарищем, — попросил я.

— Эх ты! — сказала она.

— Честно, Стеша, захмели, а?

Она вынула платочек, вытерла свое красное от поцелуев лицо и как будто отошла. Как говорит Вовик, спустилась на грешную землю. Засмеялась:

— Да у меня сегодня только «Яблочное».

— Мечи что ни есть из печи! — сказал я.

И Петька повеселел.

— Я лично «Яблочное» принимаю, — заявил он категорически.

«Колыма ты, Колыма, чудная планета...»

Что ты понимаешь, салака? Где ты был, кроме этого побережья? Греешься у теплого течения, да? Куросиво — сам ты Куросиво. Хочешь, я расскажу тебе про трассу, про шалаш в Мяките? Хочешь, я тебе расскажу всю свою жизнь с самого начала? Ну, пошли. Стеша, малютка, ручки твои крючки. Ариведерчирома! Мороз? Это ты считаешь — мороз? Что ты видел, кроме этого тухлого берега? А, вон он, «Зюйд», стоит... Понял, Петь, передовые товарищи на нем промышляют, а нам ни-ни... Герка там есть такой, сопляк вроде бы, но человек. Как даст мне один раз «под дых»! Такой пареёк... Зуб на меня имеет, и правильно. В общем, ранний мой младенческий возраст прошел, представь, в городе Саратове на великой русской артерии, матушке Волге... Что там, а? Шоколадом один раз обожрался. Из окна сад было видно, деревья густые

(а под ними желтый песок), как облака, когда на самолете летишь, только зеленые. Понял, Петь? Игра такая была — «скотный двор», да? И клоун на качелях, заводной, и ружье с резиновой блямбочкой... Стрелишь в потолок, а блямбочка прилипает, и тогда кто-то вытаскивал стол, ставил на него стул, сам влезал на стул и снимал резинку. Может, это и был отец, а? А может, этого и не было, может, чистый сон... Конечно, Петь, хватит мне с тобой время бить, я, кореш, сейчас поеду...

— Куда ты, Корень? — спросил Петька.

— В Шлакоблоки поехал, вот куда.

— Не ездий, Корень. Не ездий ты сегодня в Шлакоблоки, — затянул Петька. — Ну, куда ты поедешь такой — ни штиблет у тебя, ни галстука, ни кашне. Не ездий ты в Шлакоблоки, Валька.

— Когда ж мне ездить-то туда, а? — закричал я. — Когда ж мне туда поехать, Петь?

— Потом поедешь. Только не сейчас, верно тебе говорю. Прибарахлишься немного и поедешь. А так что ехать, впустую? Без штиблет, без кашне... Пойдем домой, поспим до вечера.

«Мы на коечках лежим, во все стороны глядим!» Петька, ты пил когда-нибудь пантокрин? Это лекарство такое, от всех болезней. Мы пили его в пятьдесят третьем году в Магадане перед пароходом. Кемарили тогда в люках парового отопления и, значит, прохлаждались пантокрином. Это из оленьих рогов, спиртовая настойка. Ты оленей видел, нет? Ни фи́га ты не видел, собачьи упряжки ты видел, а вот оленей тебе не пришлось наблюдать. Ты бы видел, как чукча на олене шпарит, а снег из-под него веером летит. Что ты! Конечно, я «либертосы» не водил по океану, но я тебе скажу, морозы на Нере были не то что здесь. Завтра у меня день рождения, если хочешь знать — тридцатка ровно, понял? Завтра я поеду в Шлакоблоки. А чего мне, старому хрену, туда ездить? Мне теперь какая-нибудь вдова нужна, какая-нибудь Стеша. Это только гордость моя польская туда тянет. Ты знаешь, что я поляк, нет? Потеха, да? Я — и вдруг поляк. Корень — польский пан. Пан Костюковский. Это мне пахан сказал, что я поляк, я и не знал, в детдоме меня русским записали. А рассказать вам, пан Петя, как я в тюрьгу попал? Рассказать или нет? Я, конечно, «либертосы» не водил... Так рассказать? А, задрыхал уже... Ну и спи...

Это было году в пятидесятом в Питере, я там в ФЗО обучался. Я все равно не смогу рассказать про это как следует. Ну и ночка была — бал-маскарад! Кому пришла в голову эта идея? Может, мне? Когда мы налаживали сантехнику в подвале на Малой Садовой, вечером, после работы, перед нами за огромными стеклами прямо горел миллионом огней Елисеевский магазин. Наверное, мне пришла в голову эта идейка, потому что каждый раз, проходя мимо Елисеевского, я воображал себя ночью там, внутри. Наверное, я кинул эту идею, потому что из всех наших фезеосников я был самый приبلатненный. В общем, стали мы копать из соседнего дома, из подвала, подземный ход и подошли под самый настил магазина. Мы сняли кафельные плитки и заползли внутрь, все шесть человек. Ух ты, черт, это невозможно рассказать: светилося несколько ламп в этой огромной люстре, и отсвечивала гора разноцветных бутылок, а в дальнем углу желтела пирамида лимонов и колбасы, тонкие и толстые, свисали с крюков, и мы сидели на полу в этой тишине и молчали, как будто в церкви.

Ребята маленькие, все почти были тридцать шестого года, а я-то, лоб, балда, надо было чисто сработать, а я со страху прямо к бутылкам полез, и ребята за мной.

Все равно другой такой ночки у меня в жизни не было, да и не будет. Мы лежали на полу, и хлестали шоколадный ликер, и прямо руками жрали икру, и все было липким вокруг и сладким, и прямо была сказка, а не ночь, и так мы все и заснули там на полу, а утром нас там и взяли, прямо тепленьких.

И поехал я, Петя, из Питера осваивать Дальний Север. Жизнь моя была полна приключений с тех пор, как я себя помню, а с каких пор я себя помню, я и сам не знаю. Иногда мне кажется, что тот, кого я помню, это был не я. И вообще, что такое, вот вышили мы сегодня в складе, и этого уже нет; вот я сигаретку гашу, и этого уже нет, а впереди темнота, а где же я-то?

Тут такой сон находит, что просышаешься от стука, будто чокнутый, будто тебя пыльным мешком из-за угла хлопнули, страх какой-то, и хочется бежать...

— Эй, Корень, тебе повестка пришла, — сказали из коридора.

Понятно, шуточки, значит. Так надо понимать, что в парикмахерскую мне пришла повестка.

— Слышь, Корень, повестка тебе!

— Сходи с этой повесткой куда-нибудь, — ответил я, — и поменьше ори, тут Петечка спит.

А может, в милицию повестка? Вроде бы не за что.

Я встал и взял повестку. Это был вызов на телефонную станцию, междугородный разговор. Ничего не понимаю, что за чудеса?

Я пошел в умывалку и сунул голову под кран. Струя била мне по темени, волосы нависали над глазами, мне было знобко и хорошо, так бы весь вечер и просидел здесь, под краном.

Потом снова прочел повестку: «Приглашаетесь для разговора с Москвой». И тут я понял: это штучки моего папаши. Ишь ты, профессор, что выдумал! Мало ему писем и телеграмм, так он еще вот что придумал — телефонный переговор.

Папаша мой нашелся год назад, верней, он сам меня нашел. Честно, Петька, я раньше даже в мыслях не держал, что у меня где-то есть пахан. Просто даже не представлял себе, что у меня кто-нибудь есть — папа там или кто-нибудь еще.

Оказывается, жив он, мой папаша, профессор по званию, член общества какого-то, квартира в Москве, понял? Он у меня в тридцать седьмом году загредел и шестнадцать лет, значит, на Колыме припухал. Рядом мы, значит, с ним были три года — я на Нере, а он где-то возле Сеймчана. Не любил я тогда этих контриков. Вот суки, думал, родину, гады, хотели распродать япошкам и фрицам. Оказывается, ошибочка получилась, Петь. Чистую ошибочку допустил культ личности. С батей моим тоже, значит, чистый прокол получился. Юриспруденция не сработала, так ее растак.

Петька спал. Я оделся и отправился на почту. В коридоре пришлось остановиться — встретил охотника со шхуны «Пламя». Он завел меня в свою комнату и поднес стаканчик.

— Ну как там у вас на шхуне? — спросил я.

— Премию получили, — ответил охотник. — Жалко, что тебя не было, Корень, ты бы тоже получил.

— Черт меня попутал с этими каланами.

— Да, это ты зря.

И поднес мне еще стаканчик.

— Понял, на почту иду. Отец меня вызывает на междугородный переговор.

— Будет тебе, Корень.

— Отец у меня профессор кислых щей.

— Здоров ты брехать, ну и здоров.

— Ну, пока! Привет там на шхуне.

— Пока!

— Слушай, ты что, не веришь, да? Хочешь, я тебе всю свою жизнь расскажу? Всю, с самого начала? Я, конечно, «либертосы» не водил...

— Извини, Валя, я тут в шахматы с геологом играю. Потом поговорим, ладно?

Луна плыла над сопками, как чистенький кораблик под золотыми парусами. Мимо острова Буяна в царство славного Салтана. Сказочка какая-то такая есть в стихах, кто ее мне рассказал? Говорят, завелись какие-то летающие тарелки и летают они по небу со страшной силой. Мне бы сейчас верхом на такую тарелочку, и чтобы мигом быть в Москве, и чтобы батя мой не надрывался в трубку, чтоб руки у него не тряслись, а прямо чтоб сесть с ним за стол и за поллитровочкой «столицы» разобрать текущий вопрос.

Эх, охотник, тебе бы только в шахматы играть, не знаешь ты ничего про мою увлекательную жизнь. Попробовал бы ты к тридцати годам занять себе папочку, профессора кислых щей. И кучу теток. И двоюродную сестренку, красотку первого класса. Попробовал бы ты посидеть с ними за одним столом. Попробовал бы ты весь вечер заливать им про свои героические дела и про производственные успехи. Впрочем, тебе-то что, ведь ты охотник с передовой шхуны «Пламя», ты премии получаешь.

А знаешь, как ночью остаться в квартире вдвоем с таким профессором, с таким, понимаешь, членом общества по распространению разных знаний. Вот ты меня называешь «бичом», а он небось и слова-то такого не знает. Я бы тебе рассказал, охотник, как он меня спросил:

«Значит, ты моряк, Валя? Выходит, что ты стал моряком?»

Да, я моряк, я рыбак, так мою распротак. Что ты хочешь, чтобы я рассказал ему, как с сейнера меня выперли и как с плавбазы меня выперли, да? Может, мне про Елисеевский магазин ему рассказать?

«Ах, Валька, Валька, что такое счастье?» — спрашивает мой отец и читает какие-то стихи.

А для меня, охотник, что такое счастье? Ликером налиться до ушей и безобразничать с икрой, да?

«Неужели ты ничего не помнишь? — спрашивает отец. — Нашей квартиры в Саратове? Меня совсем не помнишь? А маму?»

Что я помню? Кто-то вытаскивал стол и ставил на него стул, влезал и снимал мою резинку. Потолки были высокие, это я помню. Подожди, охотник, вот что я еще помню — патефон. «Каховка, Каховка, родная винтовка, горячая пуля, лети...» А мамы я не помню. Помню мильта в белом шлеме и мороженое, которое накручивали на такой барабанчик, а сверху клали круглую вафлю. И помню, как в детском доме дрались подушками, как в спальне летали во все стороны подушки, как гуси на даче. Вот еще дачу немного помню и озеро. А гуси не летают. Ты небось и не видел никогда, охотник, материковых гусей, белых и толстых, как подушки.

«Когда ты еще приедешь, Валентин? — спрашивает отец. — Переезжай ко мне. Ты моторы знаешь, технику, устроишься на работу. Женишься...»

И сейчас он все мне пишет без конца — приезжай. А как я приеду, когда у меня ни галстука, ни штiblет и грóшей ни фи́га?

Мне бы чемодана два барахла, и сберкнижку, и невесту, девочку такую вроде Люськи Кравченко, тогда бы я приехал, охотник.

Господи, и чего он меня нашел, на кой он меня, такое добро, нашел, этот профессор?

Вот кого бы ему найти, так вот Герку, такого симпатичного сопляка, поэта, чтоб ему! Ишь ты, шагают, орлы! Экипаж коммунистического труда.

— Здорово, матросы, — сказал я.

Черт те что, какие чудеса! Сколько отсюда до Москвы — десять тысяч километров, не меньше, и вот я слышу голос своего бати и хрипну сразу неизвестно отчего.

— Здравствуй, Валентин, — говорит он. — С днем рождения!

— Здравствуйте, папа, — говорю я.

— Получай сюрприз. Скоро буду у вас.

— Чего? — поперхнулся я и подумал: «Опять, что ли, его замели?» Прямо весь потом покрылся,

— Получил командировку от общества и от журнала.
Завтра вылетаю.

— Да что вы, папа!

— Не зови меня на «вы»! Что за глупости!

— Не летите, папа! Чего вы? Вы же старый.

— Ты недооцениваешь моих способностей, — смеется он.

— Да мы в море уходим, папа. Чего вам лететь? Я в море уйду.

Замолчал.

— А задержаться ты не можешь? — спрашивает. — Отпроситься у начальства.

— Нет, — говорю. — Никак.

— Печально.

И опять замолчал.

— Все-таки нужно лететь, — говорит.

Ах ты, профессор кислых щей! Ах ты, чтоб тебя! Что же это такое?

— Ладно, — говорю, — папа, попробую. Может быть, отпрошусь.

Луна плыла под всеми парусами, как зверобойная шхуна «Пламя». Будто она уносила меня от всех забот и от передряг туда, где не пыльно.

Дико хотелось выпить, а в кармане у меня был рубль.

Ну вот, приедете, папа, и узнаете обо всем. Советую еще обратиться в отдел кадров к товарищу Остащенко. Черт меня дернул пойти тогда на каланов с этим татаринном! Почти ведь человеком стал, прибарахлился, не пил...

Рубль — это по-старому десятка, сообразил я.

В «Утесе» гулял боцман с «Зюйда». Он захмелил уже четырех пареньков, а к нему все подсаживались.

— Иди туда, Корень, — сказала мне официантка. — Доволен будешь.

Я вынул свой рубль и положил его на стол.

— Вот, — сказал я, — обслужи, Раиса, на эту сумму.

Она принесла мне сто грамм водки и салат из морской капусты.

«Все, — думал я. — Хватит позориться».

Смотрю, в реслоран шустро так заходит Вовик, не раздетый, в тулупе и шапке. Подходит ко мне.

— Корень, — говорит, — аврал. Собирай всех ребят, кого знаешь, едем в Талый.

— Иди, сходи куда-нибудь, — говорю. — Видишь, человек ужинает.

— Аврал, — шепчет Вовик. — В Талый пароход пришел с марокканскими апельсинами.

— Иди, сходи куда-нибудь!

— На, посмотри.

И показывает Вовик из-за пазухи чудо-юдо — апельсин.

— Можешь потрогать.

Трогаю — апельсин. Елки-моталки, апельсин!

— А на кой мне апельсины? — говорю. — У меня сейчас с финансами туго.

А Вовка прямо ходит вокруг меня вьюном.

— Фирма, — говорит, — платит. Давай, — говорит, — собирай ребят.



6

НИКОЛАЙ КАЛЧАНОВ

— Где Катя? — спросил он.

— Спускается.

Он нагнулся к мотоциклу. Я подошел поближе, и вдруг он прямо бросился ко мне, схватил меня за куртку, за грудки.

— Слушай ты, Калчанов, — зашептал он, и если даже ярость его и злость были поддельными, то все-таки это

было сделано здорово, — слушай, оставь ее в покое. Я тебя знаю, битничек. Брось свои институтские штучки. Я тебе не позволю, я тебе дам по рукам!

И так же неожиданно он оставил меня, склонился над мотоциклом. Подбежала Катя.

— Я готова, товарищ капитан, — отковыряла она Сергею, — колясочник Пирогова готова к старту.

Он закутал ее в коляске своим полушубком, своим походным «рабочим» полушубком, в котором он обычно выезжал на объекты, в котором он появлялся и на нашей площадке. Все стройплощадки Фосфатки, Шлакоблоков, Петрова и Талого знают полушубок товарища Орлова. Всему побережью он знаком, и даже к северу, даже в Улейконе он известен.

— Благородство, — сказал я, когда он обходил мотоцикл и коснулся меня своей скрипучей кожей, — благородство плюс благородство и еще раз благородство.

Он даже не взглянул на меня, сел в седло. Раздался грохот, мотоцикл окутался синим выхлопным дымом. Меня вдруг охватил страх, и я не мог сдвинуться с места. Я смотрел, как медленно отъезжает от меня моторизованный и вооруженный всеми логическими преимуществами Сергей, как матово отсвечивает его яйцообразная голова, как он при помощи неопровержимых доказательств увозит от меня Катю.

Катя не успела оглянуться, как я подбежал и прыгнул на заднее сиденье. Мы выехали из ворот. Она оглянулась — я уже сидел за спиной Сергея, словно его верный паж.

— Вы благородны, мой дорогой, — шепнул я Сергею на ухо, — вы джентльмен до мозга костей. И прекрасный друг. Хоть сто верст кругом пройдешь, лучше друга не найдешь.

Не знаю уж, слышал ли он это в своем племе. Он сделал резкий разворот и уже на хорошей скорости промчался мимо своего дома. Я еле успел махнуть Стасику и Эдьке, которые стояли в подъезде.

Через несколько минут мы были на шоссе. Сергей показывал класс — скорость была что надо! Луна дрожала над нами, и когда мы вылетали из очередной пади на очередной перевал, она подпрыгивала от восторга, а когда мы, не сбавляя скорости, устремлялись вниз, она в ужасе падала за сопки.

Грохот, свист и страшный ветер в лицо. Я держался за петлю и корчился за широкой кожаной спиной. Все равно меня просвистывало насквозь.

— Чудо! — кричал я на ухо Сергею. — Скорость! Двадцатый век, Сережа! Жми-дави, деревня близко! Ты гордость нашей эпохи! Суровый мужчина и джентльмен! И даже здесь, в дебрях Дальнего Востока, мы не обрываем связи с цивилизацией! У тебя есть все, что нужно современному бургеру! Все для самоуважения! Скорость и карманная музыка! И под водой ты не растеряешься — акваланг! Магнитофон, шекер, весь модерн! И сам ты неплох на вид!

— И с-а-ам неплохо на ви-ид! — распевал я.

Конечно, он не слышал ничего в своем шлеме, да еще на такой скорости. Все-таки не хватило бы у меня совета говорить ему такое, если бы он слышал.

Катя съежилась за щитком. Вдруг она обернулась и посмотрела на меня. Засмеялась, сверкнули ее зубки. Глаз ее не было видно — отсвечивали очки-консервы. Она сняла очки и протянула их мне: заметила, должно быть, что я весь заиндевел. Я хлопнул ее по руке. Она опять с сердитым выражением протянула мне очки. Сергей снял руку с руля и оттолкнул очки от меня, ткнул кожаным пальцем в Катю: надень!

— Ты наша гордость! — закричал я ему на ухо.

Конечно, он не слышал.

Катя надела очки и показала мне рукой — хочу курить. Я похлопал себя по карманам — нету, забыл. Она чуть не встала в коляске и полезла к Сергею в карманы. Тогда уж мы оба перепугались и затолкали ее в коляску.

— Совместными усилиями, Сережа! — крикнул я. — Совместные усилия приносят успех.

Но он, конечно, не слышал. Он возвышался надо мной, как башня, он защищал меня от ветра, он мчал меня в неведомое будущее, в страну Апельсинию.

Мы обгоняли одну за другой машины, набитые людьми, а впереди все маячили красные стоп-сигналы. Из одной машины кто-то махнул нам рукой. Когда мы поравнялись с ними, я узнал Витьку Колтыгу, бурильщика из партии Айрапета.

— Привет, Витя! Ты тоже за марокканской картошкой спешишь? — крикнул я ему.

Он кивнул, сияя. Он вечно сияет и отпускает разные шуточки. Когда он приходит из экспедиции и появляется в городе, он корчит из себя страшного стилиягу. Называет себя Вик, а меня Ник. Веселый паренек.

— Курево есть? — спросил я.

Он протянул мне пачку сигарет. Сергей дал газу, и мы сразу ушли вперед. Я протянул пачку Кате. По тому, как она смотрела на Виктора, я понял, что она не знает, что он сейчас работает у Айрапета. А Чудакова в кабине она не заметила, это бесспорно.

Катя долго возилась за щитком с сигаретами. Спички все гасли. Наконец она закурила, но неосторожно высунулась из-за щитка, и сигарета сразу размочалилась на ветру, от нее полетели назад крупные искры. Пришлось ей опять закуривать.

Мы взяли крутой подъем и сейчас мчались вниз, в Муравьевскую падь. Уже виднелись внизу пунктыры уличных фонарей в Шлакоблоках.

Катя сидела как-то бочком, взглядывала то на меня, то на Сергея, очки отсвечивали, глаз не было видно, а губы усмехались, и в них торчала сигарета, и от этого девушка моя казалась мне какой-то чужой и вообще какой-то нереальной, придуманной, героиней каких-то придуманных альпийских торжеств, она была за семью замками, и только кончик носа и подбородок были моими. Моими, ха-ха, моими... Что же это такое получается и как тут найти выход? Говорят, кибернетическая крыса безошибочно проходит по лабиринту. Мальчишки-кибернетики, запрограммируйте меня, может, я найду выход. Может, броситься сейчас спиной назад — и делу конец? Я увидел, как протянулась кожаная рука, вырвала у Кати изо рта сигаретку и бросила ее на шоссе.

— Радость моя! — закричал я Сергею. — Друг беременных женщин!

Он резко повернул ко мне лицо в огромных очках. Они не отсвечивали, и я увидел, как там, в глубине, остекленел от бешенства его глаз.

— Ты замолчишь или нет?! — заорал Сергей.

Мотоцикл дернулся, полетел куда-то вбок. Толчок — и, ничего еще не понимая, я увидел над собой летящие Катини ботинки и сам почувствовал, что лечу, и сразу меня обжег снег, а на лицо мне навалился кожаный зад Сергея.

Я отбросил Сергея, мы оба мгновенно вскочили на ноги — по пояс в снегу — и, еще не успев перепугаться, увидели возящуюся в снегу и смеющуюся Катю.

Мотоцикл лежал на боку — в кювете, коляской кверху — и дрожал от еле сдерживаемой ярости. Сергей мрачно подтягивал краги.

— Идиот, кретин, — сказал я ему, — ты зачем взял Катю в коляску?

— А ты чего молчал? — хмуро, но без злобы сказал он. — Когда не надо, у тебя язык работает.

— Ох, дал бы я тебе!

— А я бы тебе с каким удовольствием...

Он пошел к мотоциклу.

Катя шла ко мне, разгребая снег руками, как разгребают воду, когда идут купаться.

— А я только что привстала, чтобы дать Сережке по башке, и вдруг чувствую — лечу! — смеялась она.

— Смешно, да? — спросил я.

— Чудесно!

Это идиллическое приключение под безветренным глубоким небом на фоне живописных сопок и впрямь настаивало на какой-то альпийский, курортный лад. Трудно было бороться с этим состоянием, с поразительной веселостью Кати.

«Почему мы быстро так схватились, почему мы так быстро и решительно поехали куда-то к черту на рога? — думал я. — За апельсинами, да? Ну конечно, нам надо было куда-то поехать, вырваться в этот морозный простор, вылететь из сидений, почувствовать себя безумными путниками на большой дороге».

Я стал стряхивать с Кати снег, хлопал ее по спине, а она вертелась передо мной и вдруг, оглянувшись на Сергея, прижалась ко мне щекой. Мы постояли так секунду, не больше. Я смотрел, как за пленкой очков гаснут ее глаза.

— Колька, иди сюда! — крикнул Сергей.

Мы стали вытаскивать из кювета мотоцикл. Подъехала и остановилась рядом машина Чудакова. Витька Колтыга и еще несколько ребят выскочили и помогли нам.

— Ну как там у вас? — спросил я Витьку. — Будет нефть?

— Ни черта! — махнул он рукой. — Джан Айрапет

уперся. Третью скважину уже бурим в этом проклятом распадке.

— А вообще-то здесь есть нефть?

— По науке, вроде должна быть.

— Наука, старик, умеет много гитик.

— А я о чем говорю?

Сергей уже сидел за рулем, а Катя в коляске. Я подбежал и сел сзади.

— Ты уж держись за ними, орел, — сказал я Сергею, — всем ведь уже ясно, какой ты орел. Орлов — твоя фамилия.

— Глупеешь, Калчанов, — сказал Сергей, нажимая на стартер и исторгая из своего мотоцикла звуки, подобные грому.

— Держись за грузовиком, — сказал я. — Проявляй заботу о детях.

— Учти, — сказал он, — наш разговор еще не окончен.

Я доверчиво положил голову на его плечо.

Все-таки он держался за грузовиком, и до самого моря перед нами маячил кузов, полный какой-то разношерстной публики, среди которой Виктор Колтыга, видимо, чувствовал себя звездой, певцом миланской оперы.

Море здесь открывается неожиданно, в десяти километрах от Талого. Летом или осенью оно ослепляет своим зеленым светом, неожиданным после горной дороги. Оно никогда не бывает спокойным, море в наших краях. Волнующаяся тяжелая масса зеленой воды и грохот, сквозь который доносятся крики птиц, вечный сильный ветер — это настоящее море, не какая-нибудь там лагуна. Из такого моря может спокойно вылезти динозавр.

Сейчас моря видно не было. В темноте белел ледяной припай, но его линия гасла гораздо ниже горизонта, и там, в кромешной темноте, все-таки слышался глухой шум волн.

Сюда, прямо к порту Талый, подходит веточка тепло-го течения. Навигация здесь продолжается почти круглый год, правда с помощью маленьких ледоколов.

Вот мы уже въехали в Талый и катим по его главной, собственно говоря и единственной, улице. Оригинальный городишко, ничего не скажешь. С одной стороны трех-этажные дома, с другой за низкими складками тянется линия причалов, стоят освещенные суда, большие и ма-

ленькие. Улица эта вечно полным-полна народа. Публика прогуливается и снует туда-сюда по каким-то своим таинственным делам. Когда приезжаешь сюда поздно вечером, кажется, что это какой-нибудь Лисс или Зурбаган, а может быть, даже и Гель-Гью. Я был здесь раньше два раза, и всегда мне казалось, что здесь со мной произойдет что-то удивительное и неожиданное. Уезжал же я отсюда оба раза с таким чувством, словно что-то прошло мимо меня.



7

ВИКТОР КОЛТЫГА

В Талом, кажется, вся улица пропахла апельсинами. В толпе то тут, то там мелькали граждане, с бесстрастным видом лупившие эти роскошные, как сказал Киче-кьян, плоды. Видно, терпения у них не хватало донести до дому.

Мы медленно пробирались по заставленной машинами улице. Мальчики в кузове у нас нетерпеливо приплясы-

вали. С Юрой прямо неизвестно что творилось. Подозреваю, что он вообще ни разу раньше не пробовал апельсинчиков. А я внимательно разглядывал прохожих: нет ли среди них Люськи. Гера тоже смотрел. Соперники мы с ним, значит. Вроде бы какие-нибудь испанцы, не хватает только плащей и пшаг.

Возле детсада разгружалась машина. В детсад вносили оклеенные яркими бумажками ящики, в которых рядком один к одному лежали эти самые. Все нянечки, в халатах, стояли на крыльце и, скрестив руки на груди, торжественно следили за этой процедурой. Окна в детсаду были темные: ребятня, которая на круглосуточном режиме, спокойно дрыхла, не подозревая, что их ждет завтра.

Улица была ярко освещена, как будто в праздник. Впрочем, в Талом всегда светло, потому что с одной стороны улицы стоят суда, а там круглые сутки идет работа и светятся яркие лампы.

— Мальчики, равнение направо! — крикнул я. — Вот он!

Над крышей какого-то склада виднелись надстройки и мачты, а из-за угла высывался нос виновника торжества, скромного парохода «Кильдин».

— Ура! — закричали наши ребята. — Да здравствует это судно!

Моряки с «Зюйда» иронически усмехнулись. К продмагу мы подъехали как раз в самый подходящий момент. Как раз в тот момент, когда при помощи милиции он закрывался на законный ночной перерыв. Публика возле магазина шумела, но не очень сильно. Видно, большинство уже удовлетворило свои разумные потребности в цитрусовых.

На Юру просто страшно было смотреть. Он весь побелел и впился своими лапами мне в плечо.

— Спокойно, Юра. Не делай из еды культа, — сказал я ему. Я слышал, так говорил Сергей Орлов — остроумный парень. — Подумаешь, — успокаивал я его, — какие-то жалкие апельсинчики. Вот арбузы — это да! Ты кушал когда-нибудь арбузы, Юра?

— Я пробовал арбузы, — сказал какой-то детина из моряков.

В общем, мы приуныли.

Открылись двери кабины, и с двух сторон над кузовом замотались головы Чудакова и Евдошука.

— Прокатились, да? — сказал Чудаков.

— Прокатились, — подвел итог Евдошук и кое-что еще добавил.

— Паника на борту? — удивился я. — По местам стоять, слушать команду. Курс туда, — показал я рукой, — столовая ресторанныго типа «Маяк»!

— Гений ты, Виктор! — крикнул Чудаков.

— ! — крикнул Евдошук.

И оба они сразу юркнули в кабину.

Взревел мотор.

Я угадал — столовая ресторанныго типа «Маяк» торговала апельсинами навывнос. Длинное одноэтажное здание окружала довольно подвижная очередь. Кто-то шпарил на гармошке, на вытоптанном снегу отбивали ботами дробь несколько девчат. Понятно, это не Люся. Люся не станет плясать перед столовой, она у нас не из таких. Но может быть, она где-нибудь здесь?

Торговля шла где-то за зданием, продавщицы и весов не было видно, но когда мы подъехали к хвосту очереди, из-за угла выскочил парень с двумя пакетами апельсинов и на рысях помчался к парадному входу — обмывать, значит, это дело.

Мы попрыгали из машины и удлиннили очередь еще метров на шесть-семь. Ну, братцы, тут был чистый фестиваль песни и пляски!

— А путь наш далек и долог... — голосили какие-то ребята с теодолитами. Шпарила гармошка. Девчата плясали с синими от луны и мороза, каменными лицами. Галдеж стоял страшный. Шоферы то и дело выбегали из очереди прогревать моторы. Понятно, там и сям играли в «муху». Какпе-то умники гоняли в футбол сразу тремя консервными банками. Лаяли собаки нанайцев. Нанайцы, действительно умные люди, разводили костер. Там уже пошел хоровод вокруг костра и вокруг задумчивых нанайцев. Тыр-пыр, подъехали интеллектуалы. Катя давай плясать, и Колька Калчанов туда же.

— Заведи, Сережа, свою шарманку, — попросил я.

На груди у товарища Орлова висел полупроводниковый приемник.

Какой-то богодул бродил вдоль очереди и скрипел зубами, словно калитка на ветру. Иногда он останавливался, покачивался в своем длинном, до земли, драном тулупе, смотрел на нас мохнатыми глазами и рычал:

— Рюрики, поднесите старичку!

Сергей пустил свою музыку. Сначала это было шипение, шорох, писк морзянки (люблю я эту музыку), потом пробормотали что-то японцы, и сильный мужской голос зашел «Ду ю...» и так далее. Он шел то быстро, то медленно, то замолкал — и тут рассыпался рояль, а потом он снова сладкозвучно мычал: «Ду ю...» и так далее.

— Фрэнк Синатра, — сказал Сергей и отвернулся, поднял голову к луне.

А Катя с Колей отплясывали рядом, не поймешь, то ли под гармошку, то ли под этого сенатора. Что-то у них, кажется, произошло.

— Что-то Катрин расплясалась с Калчановым, — шепнул мне Базаревич, — что-то мне это не нравится, Вить. Что-то Кичекьяныч-то наш...

— Молчи, Леня, — сказал я ему. — Пусть пляшут, это дело невредное.

Пойду искать Люсю. Чувствую, что где-то она здесь. Почему бы и мне не поплясать с ней по морозцу?

Я уж было отправился, но в это время к очереди подъехала машина «ГАЗ-69», и из нее вылезло несколько новых любителей полакомиться.

— Кто последний? — спросил один из них.

— Мы с краю, — сказал я, — только учтите, ребята, что за нами тут еще кое-кто занимал. Учтите на всякий случай. Возможно, еще одна когорта подвалит.

— Нас тоже просили очередь занять, — сказал один моряк, — сейнер «Норд» приедет.

— Понятно, — сказали новые, — а товару хватит?

— Это вопрос вопросов, — сказал я. — А вы сами-то откуда?

— С Улейкона, — ответили они.

— Ну, братцы, — только и сказал я.

С Улейкона пожаловали, надо же! Знаю я эти места, бывал и там. Сейчас там небось носа не высунешь, метет! По утрам откапываются и роют в снегу траншеи. Здесь тоже частенько бывает такое и всякое другое, но разве сравнишь побережье с Улейконом?

— Мы тут новую технику принимали, — говорят ребята, — посмотрим, апельсины...

Пьют там от цинги муть эту из стланика. Помогает. Кроме того, поливитаминами в драже балуются.

— Пошли, ребята, — говорю я им, — пошли, пошли...

Наши смекнули, в чем дело, и тоже их вперед толкают.

За углом здания, прямо на снегу, стояли пустые ящики из-под апельсинов. Две тетки, обвязанные-перевязанные, орудовали возле весов. Одна отвешивала, а другая принимала деньги. Несколько здоровенных дбов наблюдали за порядком.

— Красавицы! — заорал я. — Товару всем хватит?

— Там сзади скажите, чтоб больше не вставали! — вместо ответа крикнула одна из продавщиц.

— Стойте здесь, братишки, — сказал я и врезался в толпу.

— Слушайте, — сказал я очереди, когда оказался уже возле самых весов, — тут люди издалека приехали, с Улейкона...

Очередь напряженно молчала и покачивалась. Ясно, что тут уж не до песен-плясок, когда так близко подходишь. Все отворачивали глаза, когда я на них смотрел, но я все ж таки смотрел на них испепеляющим взором.

— Ну и че ты этим хочешь сказать? — не выдержал под моим пристальным, испепеляющим взором один слабохарактерный.

— С Улейкона, понял? Ты знаешь, что это такое?

— Ни с какого ты не с Улейкона! Ты с Фосфатки, я тебя знаю, — визгливо сказал слабохарактерный.

— Дура, я-то стою в хвосте, не бойся. Я ничего не беру, видишь? — Я вынул авторучку, снял с нее колпачок и сунул ему в нос. Таким типам всегда нужно сунуть в нос какое-нибудь вещественное доказательство, и тогда они успокаиваются.

— Улейконцы, идите сюда! — махнул я рукой.

Очередь загудела:

— Пусть берут... Чего там... Да ну их на фиг... Ты, молчи... Пусть берут...

Я отошел к пустым ящикам. На них были наклейки: на фоне черных пальм лежали оранжевые апельсины, сбоку виднелся белый минарет и написано было по-английски: «Продукт оф Марокко».

Я соскоблил ножом одну такую наклейку и сунул ее в карман. Хватит не хватит апельсинов, а сувенирчик у меня останется.

Когда первый улейконец выбрался из толпы с паке-

тами в руках, я подошел к нему и вынул из пакета один апельсин.

— Мой гонорар, синьор, — поклонился я улейконцу и посмотрел на него внимательно: не очень ли он огорчен?

— Берите два, — улыбнулся улейконец, — право, мы вам так благодарны...

— Ну что вы, синьор, — возразил я, — это уже переходит границы.

Я подошел к нашим, отвел в сторону Юру и предложил ему пойти выпить пива. Через площадь от столовой «Маяк» находился сарай, который в Талом гордо называли «бар». Юра согласился, и мы с ним пошли. По дороге Юра все волновался, хватит ли нам товару, наверное, нет, скорее всего не хватит. А я ощупывал у себя в кармане небольшой улейконский апельсин.

— Похоже на то, парень, что ты их раньше и не пробовал.

— Что ты! Еще как пробовал. Помню...

— Брось! Знаю я твою биографию.

Я протянул ему апельсин.

— Рубай! Рубай, говорю, не сходя с места!

По тому, как он взялся за него, я сразу понял, что был прав.

Мы стояли на пригорке, и под нами была вся бухта Талого. Слабо мерцал размолотый ледоколами лед, дымилась под прожекторами черная вода. Низко-низко шел над морем похожий отсюда на автобус самолет ледового патруля. В кромешной темноте работала мигалка, открывала свой красный глаз на счет «шестнадцать»: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (где же Люся?), 8, 9, 10 (где же она?), 12, 13, 14, 15, 16!

— Рубай-рубай, я уже ел, меня улейконцы угостили.

«Бар» напоминал старый вагон, снятый с колес. Сквозь окошечки было видно, что там шла прессовка человеческих тел. У входа «жала масло» сравнительно небольшая, но энергичная толпа портовых грузчиков.

— Ну и дела у вас в Талом! — сказал я пожилому крепышу.

— Сегодня еще ничего, шанс есть, — сказал он.

— А в Фосфатке с пивом свободно, — сказал Юра, от которого веяло ароматами знойного юга.

— Так это, видишь, почему, — хитро сощурился груз-

чик, — потому, ребята, что то Фосфатка, а то Талый, вот почему.

— Понятно.

— Вся битва здесь, — с законной гордостью сказал грузчик.

— Пойдем, Юра, выпьем лучше шампанского, оно доступней.

1, 2, 3 (где ее искать?), 5, 6, 7 (сейчас она появится), 9, 10, 11 (на счет шестнадцать), 13, 14, 15... Вот она!

Это была действительно она. Она стояла среди других девчат и смотрела на меня искоса. Она была в белом платке и в валенках. Разве ей в валенках ходить? 16! Она смотрела на меня как-то неуверенно и даже как будто со страхом, так она никогда на меня не смотрела. Может быть, она думала...



8

ЛЮДМИЛА КРАВЧЕНКО

Когда я увидела Витю, я подумала: неужели это он? Он стоял, такой высокий и тонкий в талии и светлоглазый, и улыбался, глядя на меня. Он был очень похож на того, что стоял там, в Краснодаре, с листиком платана в зубах и крутил пальцем у виска, думая, что я сумасшедшая. Может быть, это и был он? Ведь он краснодарец.

Нет, его не было там в то время. В то время он «болтался» (как он выражается) где-то на Колыме.

Может быть, это обман зрения, думала я, когда он шел ко мне. Может быть, это оттого, что он приближается сверху и от этого кажется выше? Может быть, это из-за того, что такая ночь? Может быть, я опьянела от апельсина?

Как он обнимет меня, как прижмет к себе, как все вдруг пропадет и какая будет духота, а на потолке будут качаться тени платанов...

Он шел ко мне, было всего несколько шагов, но за эти секунды вдруг каким-то шквалом пронеслась вся моя будущая жизнь с ним.

Тик-так, тик-так, я буду слушать по ночам ход часов. Может быть, я буду плакать, вспоминая о чем-то потерянном, чего на самом деле и не жалко, но почему не поплакать, если ты счастлива. Тик-так, тик-так, и вдруг входит мой сын, огромный и светлоглазый, с листиком платана в зубах.

Проваливаясь по колено в снег, ко мне подошел Виктор.

— Ну, как успехи, товарищ Кравченко?

— Спасибо, ничего. Скоро сдаем новую школу.

А как ваши, Витя?

— Ни фиги!

— Не стыдно, Витя, а? Что это за выражения?

— Экскюз ми, мисс!

— Вы начали заниматься английским?

— Всем понемногу, ха-ха! Английским и японским.

— Ну вас! А все-таки?

— Сидим в этом вши... в этом чудном распадке. Третью скважину бурим, и все без толку. Дай-ка твои ладшки. Ух ты, какие твердые!

— Вы что, с ума сошли? Уберите руки!

— А как учеба без отрыва от производства?

— Спасибо, ничего. Вам нравится ваша специальность?

— Мне кое-что другое нравится, кое-что другое, кое-что...

— Перестаньте! Перестаньте! Вот вам!

— Вот это ручки, да! Вот это ручки... А как успехи в общественной работе?

— Спасибо, ничего. Какой вы несобранный, Витя...

— Значит, все в порядке? Да, а как там танчики? «Клен зеленый, лист кудрявый, Ляна»?

— Спасибо, ничего. Я хочу попробовать классические танцы.

— Фигурка для классики, это точно. Тебе бы, девочка моя, римско-греческую тунику. Тебе бы бегать в тунике по лесам и лугам...

— Что вы делаете! Я рассержусь. На нас смотрят.

— «По лесам, по лугам и садам они вместе летают, ароматом та-ри-ра-рам та-ри-ра-рам...» Ты сердисься, да? Не сердись. Я серьезно. Я тебя люблю. Ты моя единственная. Когда будем свадьбу играть?

— Что вы говорите, Витя? Что вы говорите? Нина, Нинка, подожди меня, куда ты бежишь?

— А как у вас со спортом, товарищ Кравченко? Неужели вы не занимаетесь спортом? Всесторонне развитая комсомолка должна заниматься спортом, прыгать дальше всех, бегать скорее всех...

— Это моя подруга Нина. Познакомьтесь!

— Очень приятно, Ниночка. Бурильщик товарищ Виктор Алексеевич Колтыга к вашим услугам. Вы, надеюсь, такая же, как ваша подруга, на все сто? Так как у вас, дочки, со спортом? Нельзя запускать этот участок работы.

— Я хочу заняться лыжами.

— Это мы слышали. Лыжным двоеборьем, да?

— Да, представьте себе!

— Не дело, товарищ Кравченко. Здесь вы не добьетесь успеха. Может быть, попробовать хоккей? Ключку можете сделать сами. Или баскетбол? Это идея — баскетбол! Вопросы тактики я беру на себя. Личный друг Рэя Мейера из университета Де-Поль и...

Он стал нам рассказывать что-то о баскетболе, потом о футболе, потом о каких-то спортивных очках и что-то еще. Можно было подумать, что он крупный специалист по спорту. В прошлую нашу встречу он весь вечер рассказывал мне о Румынии, как будто провел там полжизни, а в первую нашу встречу все говорил о космосе какие-то ужасно непонятные вещи. Он очень образованный, просто даже странно, что он бурильщик.

Мы медленно шли по площади к столовой «Маяк». Виктор размахивал руками, а Нинка смотрела на него вне себя от изумления, и вдруг я увидела Геру Ковалева,

Гера стоял с двумя другими моряками, и все они втроем в упор смотрели на меня.

— Здравствуйте, Гера!

— Привет!

— Вы давно пришли из плавания?

— Недавно.

— А что вы такой? Плохо себя чувствуете?

— Хорошо.

— Знакомьтесь, это Виктор...

— Мы знакомы.

— А это Нина, моя лучшая подруга. Ниночка, это Гера Ковалев, моряк и... можно сказать?

— Можно.

— И поэт.

— Ниночка, ты смотри, не уезжай без меня. Гера, мы еще увидимся.

Мы остались вдвоем с Виктором, и он вдруг замолчал, перестал рассказывать о спорте, засвистел тихонько, потом закурил и даже, кажется, покраснел.

— Виктор, что вы мне хотели сказать?

— Я уже сказал.

Я вдруг потеряла голову, потеряла голову, потеряла все. Унеси меня за леса и горы, за синие озера, в тридцатое царство, в некоторое государство. У меня подгибались ноги, и я схватила его за пуговицы.

— Скажи еще раз.

— Ну вот, еще раз.

— Теперь еще раз.

— Пожалуйста, еще раз.

— Ты... ты... ты...

— Где бы нам спрятаться?

— Иди сюда!

— Туда?

Я побежала, и он помчался за мной. Мы спрятались за какими-то сараями, и он, конечно, сразу полез обниматься, но я отошла и тут вспомнила вдруг про апельсины, вынула из сумки самый большой и протянула ему.

— Съедем вместе, да?

— Давай вместе.

— Ты умеешь их чистить?

— Да, — вдруг сказал кто-то рядом, — символическое съедение плода.

На нас смотрели Коля Калчанов и стоящая рядом с ним очень красивая девушка в брючках.

— Как там наша очередь, Николай? — спросил Виктор.

— Двигается, Адам.

А я не стыдилась. Я прижалась к Виктору и сказала:

— Коля, я была неправа насчет бороды. Носите ее, пожалуйста, на здоровье.

— Благодарю тебя, Ева, — поклонился Калчанов.

Я даже не обиделась, что он назвал меня на «ты».



9

ГЕРМАН КОВАЛЕВ

Но глаза у нее все же были печальными. Только печаль эта была не моя. Она ко мне буквально никакого отношения не имела.

Я смотрел, как они приближались, как размахивал руками Виктор, как Люся печально взглядывала на него и как тарасила на него глаза какая-то пигалица, идущая рядом.

— Вот она, — сказал я, — та, что повыше.

— Эта? — выпятил нижнюю губу Боря. — Ну и что? Рядовой товарищ.

— Таких тыщи, — сказал Иван, — во Владике таких пруд пруди. Идешь по улице — одна, другая, третья... Жуткое дело.

Мои товарищи зафыркали, глядя на Люсю, но я-то видел, какое она на них произвела впечатление.

— Если хочешь, можно вмешаться, — тихо сказал мне Боря.

Конечно, можно вмешаться. Так бывает на танцах. Отзываешь его в сторону. «Простите, можно вас на минуточку? Слушай, друг, хорошо бы тебе отсюда отвалить. Чего ради? Прическа твоя мне не нравится. Давай гребни отсюда. Мальчики, он какой-то непонимающий». А к нему уже бегут его ребята, и начинается. Глупости все это. Ничего хорошего из этого не получается. К тому же, в общем-то, это стыд один, хотя и спайка и «все за одного»... А Виктор Колтыга — парень на все сто. Разве он виноват, что ростом вышел лучше, чем я, и возрастом солидней, и профессия у него земная? Морякам в любви никогда не везло.

Люся подняла глаза, увидела меня и вздрогнула. Подошла и стала глупости какие-то говорить, как будто никогда и не получала десяти моих писем со стихами. Я отвечал независимо, цедил слова сквозь стиснутые зубы. Ладно, думал я, точки над «и» поставлены, завтра мы выходим в море.

А она так ловко подсунула мне свою подружку, пигалицу какую-то, и отошла борт к борту с Виктором Колтыгой.

— Правда, вы поэт? — спросила пигалица.

— Еще какой, — сказал я.

Поэт я, поэт, кому нужен такой поэт?

Люся с Виктором мелькали за сараями.

Боря с Иваном издали кивали мне на пигалицу и показывали большие пальцы: вот такая, мол, девочка, не теряйся, мол.

Я посмотрел на нее. Она боролась с ознобом — видно, холодно ей было в фасонистом пальтишке. Пальтишко такое, как мешок, книзу уже, а широкий хлястик болтается ниже спины. А личико у нее худенькое и синенькое, наверное, от луны, наверное, у нас сейчас у всех физионо-

мии синенькие, а она кусает губы, как будто сдерживается, чтобы не заплакать. Мне жалко ее стало, и я вдруг почувствовал, что вот с ней-то у меня есть что-то общее.

— Вы, видно, недавно из Европы? — спросил я.

— Осенью приехала, — пролепетала она.

— А откуда сами-то?

— Из Ленинграда.

Она посмотрела на меня снизу, закусив нижнюю губу, и я сразу понял, в чем дело. Я для нее не такой, какой я для Люси. Я для нее здоровый верзила в кожаной куртке, я для нее такой, какой для Люси Виктор, я — такой бывалый парень и сильный, как черт, и она меня ищет, прямо дрожит вся от страха, что не найдет.

Я подумал, что все мои стихи, если внести в них небольшие изменения, пригодятся и для нее и ей-то уж они понравятся, это точно.

— Как вас звать-то? Я не расслышал.

— Нина.

— А меня Гера.

— Я расслышала.

— Вы замерзли?

— Н-нет, н-ничего.

— Нина!

— Что, Гера?

— У меня здесь очередь за апельсинами.

— А я уж получила, хотите?

— Нет, я лучше сам вас угощу. Вы, Нина, не пропадите, ладно?

— Ладно, я тут с девочками побегаяю.

— Ладно. А потом мы пойдем в столовую, потанцуем.

— Потанцуем?

— Там есть радиола.

— Правда?

— Значит, договорились? Не исчезаете?

— Ну что вы, что вы!

Она побежала куда-то, а я смотрел ей вслед и думал, что она-то уж не исчезнет, это точно, что я сменю киноленту для снов и, может быть, это будут веселые сны.

Я пошел к столовой. Еще издали я заметил, что наша очередь сильно подвинулась вперед. Тут я наткнулся на парня-корреспондента. Он фотографировал сидящих у костра нанайцев и хоровод вокруг них. Я подождал, пока он кончит свое дело, и подошел к нему.

— Много впечатлений, корреспондент? — спросил я его.

— Вагон.

— Ну и как?

— Хорошо здесь у вас, — как-то застенчиво улыбнулся он. — Просто вот так! — и показал большой палец.

— Хорошо? — удивился я. — Что тут хорошего? А, романтика, да?

— Ну, может, и не хорошо, но здорово. И романтика — это не то слово. Летом приеду еще раз. Возьмете меня с собой в море? — Я засмеялся.

— Ты чего? — удивился он.

— Вы не писатель?

Он нахмурился.

— Я пока что маленький писатель, старик.

— Мало написали?

— Мало. Всего ничего, — засмеялся он. — Вы, Гера, небось больше меня написали, несмотря на возраст.

— А вы знакомы с поэтами?

— Кое с кем.

— А с Евтушенко? — спросил я для смеха.

— С Евтушенко знаком.

Хватит травить, хотел я сказать ему. Все с запада «знакомы с Евтушенко», — смех, да и только.

Тут я увидел нашего Сакуненко. Был он с той же женщиной, она его не отпускала, все расспрашивала.

— Ну и дамочка! — ахнул я.

— Да, — помрачнел корреспондент, — она такая...

— Васильич! — крикнул я капитану. — Что слышно насчет рейса?

Он остановился, ничего не понимая, и не сразу заметил меня.

— Скажи ребятам, пусть не волнуются! — крикнул он. — Выходим только через два дня.

— А куда?

— На сайру.

— Ничего себе, — сказал я корреспонденту. — Опять на сайру.

— Опять к Шикотану? — спросил он.

Тут послышались какие-то крики, и мы увидели, что в очереди началась свалка.

— «Зюйд», сюда! — услышал я голос Бори и побежал туда, стаскивая перчатки.



10

НИКОЛАЙ КАЛЧАНОВ

Танцы в стране Апельсии, такими и должны быть танцы под луной, эх, тальяночка моя, мать честна, го-пак или твист — не все ли равно, разудалые танцы на Апельсиновом плато, у подножия Апельсиновых гор, у края той самой Апельсиновой планеты, а спутнички-апельсинчики свистят над головами нашими садовыми.

Если бы это было еще вчера! Как бы это было весело

и естественно, боже ты мой! Колька Калчанов, борода-тый черт, в паре с Катенькой Кичекьян, урожденной Пироговой, друг мужа с женой друга, а еще один дружок исполняет соло на транзисторном приемнике. Ах, какое веселье!

Нет, нет, истерикой даже не пахло. Все было очень хорошо, но только лучше было бы, если бы это было вчера.

Вдруг кончились танцы. Катя увидела Чудакова.

— Чудаков! Чудаков! — закричала она.

Он подошел и пожал ей руку.

— Ну, как? — спросила Катя.

— Да что там, — пробурчал Чудаков, — третью кончаем...

— Кончаете уже? — ахнула Катя и вдруг оглянулась на нас с Сергеем, взяла под руку Чудакова и отвела его на несколько шагов.

Она казалась маленькой рядом с высоким и нескладным Чудаковым, прямо за ними горел костер, они были очень красиво подсвечены. Она жестикулировала и серьезно кивала головой, видно, выспрашивала все досконально про своего Арика, как он ест, как он спит и так далее.

Мы были такими друзьями с Ариком, с Айрапетом — особой нужды друг в друге не испытывали, но когда случайно встречались, то уж расставаться не хотелось.

А как-то был случай, летом, ночью, когда все уже отшумело, но еще тянуло всякой гадостью от асфальта и из подъездов, а под ногами хлюпали липкие лужицы от газировочных автоматов, а в светлом небе висела забытая неоновая вывеска, тогда я стал говорить что-то такое о своих личных ощущениях, а Арик все угадывал, все понимал и был как-то очень по-хорошему невесел. И все мои друзья были с ним на короткой ноге, и я с его друзьями.

Где и когда он нашел Катю — не знаю. Я увидел ее впервые только в самолете. Айрапет позвонил мне за день до отъезда и предложил: «Давай полетим вместе, втроем?» — «Втроем, да?» — спросил я. «Да, втроем, моя старуха летит со мной». — «Твоя старуха?» — «Ну да, жена» — «А свадьбу замотал, да?» — «А свадьба будет там. Мы еще не расписались».

И вот мы втроем совершили перелет в тринадцать тысяч километров, в трех самолетах различных систем:

Ленинград—Москва — «Ту-104», Москва—Хабаровск — «ТУ-114», Хабаровск — Фосфатка — «ИЛ-14». Они учили меня играть в «канасту», и я так здорово обучился, что над Свердловском стал срывать все банки, и карта ко мне шла, и я был очень увлечен, и даже перестал подмигивать стюардессам, и не удивлялся Катиным взглядам, а только выигрывал, выигрывал и выигрывал.

Над Читой Айрапет ушел в хвост самолета, мы отложили карты, и я сказал Кате:

— Ну и девушка вы!

— А что такое? — удивилась она.

— Высший класс! — сказал я ей. — Большая редкость.

И еще что-то сказал в этом же роде, просто для того, чтобы что-нибудь сказать, пока Айрапет не вернется из хвоста. Она засмеялась, я ей понравился.

В общем, все это началось потом. Все, что кончилось сегодня.

Сергей стоял, прислонившись к стене столовой, засунув руки в карманы, изо рта у него торчала погасшая сигарета «Олень», он исподлобья с трагической мрачностью смотрел на Катю. Конечно, это был мужчина. Все в нем говорило: «Я — мужчина, мне тяжело, но я не пророню ни звука, такие уж мы, мужчины». Жаль только, что транзистор в это время играл что-то неподходящее, как-то жеманница пиццала: «Алло! Ага! Ого! Но-но!» Странно, он не подобрал себе подходящую музыку. Сейчас бы ему очень подошло «Сикстен тонс» или что-нибудь в этом роде, что-нибудь такое мужское.

Я подошел к нему и стал крутить регулятор настройки.

— Так лучше? — спросил я, заглядывая ему в лицо.

«До чего же ехидный и неприятный тип, — подумал я о себе, — может быть, Сергею действительно нехорошо».

— Если хочешь, можем поговорить, — не двигаясь и не глядя на меня, проговорил он, — поговорим, пока ее нет.

— Уже поговорили, — сказал я, — все ясно...

— Я ее люблю, — пробормотал он, резко отвернув свое лицо.

У меня отлегло от души: все понятно, конечно, Сергей страдает, но как ему приятно его страдание, как это все отлично идет, словно по нотам.

— Ничего удивительного, — успокоил я его. — Пол-Фосфатки ее любит и треть всего побережья, и даже на Улейконе я знаю нескольких парней, которые сразу же распускают слюни, как только речь заходит о ней.

— Ты тоже? — тихо спросил он.

— Ну конечно же! — радостно воскликнул я.

Так. Ничего, проехало. Скользим на грани пошлости, но все пока...

— Ты пойми, — сказал Сергей, повернулся и положил мне руки в кожаных перчатках на плечи, — ты пойми, Колька, у меня ведь это серьезно. Слишком серьезно, чтобы шутить.

Ах ты, какая досада — это уже что-то южное. Такие два друга с одного двора, а один такой силач, и вот надо же — приглянулась ему дивчина.

А между тем я чуть не задохнулся от злобы. Ты, хотелось мне крикнуть ему в лицо, ты — эскимо на палочке! У тебя это серьезно, а у половины Фосфатки, у трети всего побережья, у нескольких парней с Улейкона это несерьезно, да? А у меня уж и подавно — ведь ты же знаешь все мои институтские штучки, ведь я у тебя весь как на ладони, конечно, мне ведь только бы бесчестить жен своих друзей, хлебом не корми, дай только это сделать, мне ведь что, мне ведь на Катю чихать, это тебе не чихать, вот у тебя это серьезно...

— Да, я понимаю, — сказал я, — тебе, конечно, тяжело.

— Поэтому, старик, я тебе так, тогда... Ты уж...

— Да ну, чего уж, ведь я понимаю... тебе тяжело...

— А она...

— А она любит только своего мужа, — чуть-чуть तो ропливее, чем надо было, сказал я.

— Не знаю, любит ли, но только она... ведь ты знаешь...

— Знаю, — потушил глаза я, — тебе, Сергей, тяжело...

Тут он протянул мне пачку сигарет, чиркнул своей великолепной зажигалкой «Zippo», пламя ее озарило наши печальные лица, лица двух парубков с одного двора, и мы закурили очень эффектно в самый подходящий для этого момент.

— А что в таких случаях делают, Колька? — спросил Сергей. — Спиваются, что ли?

— Или спиваются, или погружаются с головой в ра-

боту. Второе, как принято думать, приносит большую пользу.

Тут он выключил свой приемник и посмотрел мне прямо в глаза. Видно, до него дошло, что мы мальчики не с одного двора и он не любимец публики, что он напрасно ищет во мне сочувствия и весь этот «мужской» разговор — глупый скетч, что я...

Я не отвел взгляда и не усмехнулся, понимая, что сейчас мы начнем говорить по-другому.

Когда смолкла музыка, вечно его сопровождавшая, его постоянный нелепый фон, синкопчики или грохот мотора, в эту секунду молчания мы, кажется, оба поняли, что наша «дружба» — врозь, что дело тут вовсе не в Кате, не только в Кате, а может быть, и в ней, может быть, только в ней. В эту зону молчания доносились переборы гармошки, смех и топот ног, высокий голос Кати и треск костра.

— Шире грязь — навоз ползет! — воскликнул кто-то, и мимо нас в облачке алкогольных паров сосредоточенно прошествовала группа тихих мужчин.

Следом за ними, выкидывая фортели, проследовал Коля Марков.

— Бичи пожаловали из Петровского порта, — сказал он мне. — Вот сейчас начнется цирк.

Бичи остановились возле весов и стали наблюдать за распродажей. Были они степенны, медленно курили маленькие чинарики и сплевывали в снег.

Очередь напряженно следила за ними. Я тоже следил и забыл о Сергее.

— Сергей Юрьевич! — позвали его.

В нескольких шагах от нас стоял, заложив руки за спину, приветливо улыбающийся пожилой человек. Был он одет как обыкновенный московский служащий и поэтому выглядел в этой толпе необыкновенно. С лица Сергея исчезла жестокость. Он махнул этому человеку и, широко шагая, пошел к нему, а ко мне подошла Катя.

— Что там у Айрацета? — храбро спросил я ее.

— Сюда приехало несколько человек из их партии, а Арик остался там, — печально сказала Катя, глядя в сторону. — Чудаков говорит, что Арик не теряет надежды.

— Да?

— Они идут по этому распадку с юга на север. Про-

бурили уже две скважины, и оба раза получили только сернистую воду

— А сейчас?

— Третью бурят, — она вздохнула. — Маршруты там тяжелые.

— Но зато это недалеко, — сказал я.

— Да, недалеко, — опять вздохнула она.

— Он может приезжать иногда.

— Конечно, он приезжает иногда. Помнишь, ведь он приезжал не так давно на три дня.

— Когда? — спросил я. — Что-то не помню.

— Как же ты не помнишь? — пробормотала она. — Он приезжал месяца полтора назад. Ты помнишь все прекрасно! Помнишь! Помнишь! — почти крикнула она.

Я пролез к ней под варежку и сжал ее холодные тонкие пальцы. Конечно, я все помнил. Еще бы не запомнить — он ходил, как пьяный, все три дня, хотя почти не пил. А она ходила как с похмелья. Впрочем, она пила. В честь него были сборища у Сергея, наверное, только он да Эдик Танака не замечали их фальши.

— Пальчики твои, пальчики... — прошептал я.

— Пять холодных сосисок, — засмеялась она, теряя голову и приближая ко мне свое лицо. Стоит нам дотронуться друг до друга, и мы теряем головы, и нам уже все нипочем. Это опасное сближение, сближение двух критических масс, что нам делать?

Словно бы пушечный выстрел потряс воздух. Через секунду второе сотрясение донеслось до нас. Это над нами, над любителями апельсинов, на чудовищной высоте перешло звуковой барьер звено самолетов.

Мы подняли головы, но их не было видно. Сохраняя свое по меньшей мере странное спокойствие, уверенное в своей допотопности и извечности, над нами стояло ночное небо, декоративно подсвеченное луной.

У меня закружилась голова, и если бы не Катина рука, я, может быть, упал бы.

Когда я думаю о реактивных самолетах, о том, как они, словно болиды, прочерчивают небо прямо под бородой у дядюшки Космоса, земля начинает качаться у меня под ногами, и я с особой остротой ощущаю себя жителем небольшой планеты. Раньше люди, хотя и знали, что Земля — шар, что она — подумать только! — вращается вокруг Солнца, все же ощущали себя жителями небо-

зримых пространств суши и воды, лесов и степей, и небо, голубое, темно-синее и облачное, стояло над ними с оправданным спокойствием и тишиной. Но, право же, довольно этой иронии, ведь на земле найдутся бесноватые пареньки, способные спорта ради взорвать все это к чертям. Но, право же, к чему мудрить, ведь через несколько месяцев в океане, на берегу которого мы стоим, в теплых тропических водах, мозговики дадут команду, и мальчишки-спортсмены ее примут, и начнутся очередные упражнения игрушечками класса «Земля—смерть».

А мы стоим в очереди за апельсинами. Да, мы стоим в очереди за апельсинами! Да, черт вас возьми, мы стоим за апельсинами! Да, кретины-мозговики, и вы, мальчикумники, я, Колька Калчанов, хочу поесть апельсинчиков, и в моей руке холодные пальцы Кати! Да, я строю дома! Да, я мечтаю построить собственный город! Фиг вам! Вот мы перед вами все, мы строим дома, и ловим рыбу, и бурим скважины, и мы стоим в очереди за апельсинами.

У меня есть один приятель, он ученый, астроном. У него челюсти как у бульдога, а короткие волосы зачесаны на лоб. Колпак звездочета ему вряд ли пойдет. Однажды я был у него на Пулковских высотах. Мы сидели вечером в башне главного рефрактора. Небо было облачное, и поэтому мой кореш бездельничал. Вообще у них, у этих астрономов, работа, как мне показалось, не пыльная. Вот так мы сидели возле главного рефрактора, похожего на жюль-верновскую пушку, и Юрка тихонько насвистывал «Черного кота» и тихонько рассказывал мне о том, что биологическая жизнь, подобная нашей, земной, явление для вселенной, для материи в общем-то чуждое. В общем-то, старина, понимаешь ли, все это весьма зыбко, потому что такое стечение благоприятных условий, как у нас на Земле, с точки зрения новейшей науки, понимаешь ли, маловероятно, кратковременное исключение из правил. Ну, конечно, все это во вселенских масштабах, для нас-то это история, а может быть, и тысячи историй, миллион цивилизаций, в общем, все нормально.

— Ты давно об этом знаешь? — спросил я его.

— Не так давно, но уже порядочно, и не знаю, а предполагаю.

— Поэтому ты такой спокойный?

— Да, поэтому.

Боже ты мой, конечно, я знал, что наша Земля — «песчинка в необъятных просторах вселенной», и в свете этого походы Александра Македонского несколько смешили меня, но сознание того, что мы вообще явление «маловероятное», на какое-то время поразило меня, да и сейчас поражает, когда я об этом думаю. Стало быть, все это чудеса чудес? Бесчисленные исключения из правил, игра алогичности? Например, чудо апельсина. Случайные переплетения маловероятных обстоятельств, — и на дереве вырастает именно апельсин, а не граната-лимонка. А человек? Подумайте об этом, умники с тропических островов. Вы же ученые, вы же знаете все это лучше меня, ну, так подумайте.

— Катя, ты чудо! — сказал я ей.

— А ты чудо-юдо, — засмеялась она.

— Я серьезно. Ты — исключение из правил.

— Это я уже слышала, — улыбнулась она с облегчением, переходя к веселости и легкости наших прежних отношений.

— Ты — случайное переплетение маловероятных обстоятельств, — с дрожью в голосе проговорил я.

— Отстань, Колька! Ты тоже переплетение.

— Конечно. Я тоже.

— Ого! Ты слишком много о себе возомнил.

— Пальчики твои, пальчики... — забормотал я, — маловероятные пальчики, ты моя милая... Я хочу тебя поцеловать.

— Ты, кажется, совсем того, заговариваешься, — слабо сопротивлялась она. — Колька, это нечестно, посмотри, сколько народу вокруг.

Боже ты мой, вот две случайности — я и Катя, и случайность свела нас вместе, и мы случайно подходим друг к другу, как яблоко к яблоне, как суша к воде, как муж к жене, но вот — мы не можем даже поцеловаться на глазах у людей, и, видно, это действует какой-то другой закон, не менее удивительный, чем закон случайностей.

Кто-то дернул меня за плечо.

— На минутку, Калчанов, — сказал мне потрясающего вида силач без шапки и без шарфа. — Ты полегче, Калчанов, — проговорил он, глядя в сторону и массируя свои предплечья, — кончай тут клинья подбивать, понял?

Тут я вспомнил его — это был Ленька Базаревич, моторист из партии Айрапета.

— Понятно, Ленья, — сказал я ему, — ты только не задави меня, Ленья.

Я увидел, что к нам приближается Сергей Орлов. Два таких силача на меня одного — это уж слишком. Я представил себе, как они вдвоем взяли бы меня в оборот, вот вид я бы имел!

— Можешь смеяться, но я тебе сказал, — предупредил меня Ленья и отошел.

Чудаки, возможно, вы хорошие ребята, у каждого из вас свой кодекс чести, но мне ведь только бы с самим собой совладать, со своим кодексом, и тогда, силачи, приступайте к делу, мне не страшно.

Сергей подошел.

— Вот что, — сказал он, — тот человек, мой знакомый, — директор пиццеторга.

— Потрясающий блат, — сказала Катя, — так ты тогда займи столик в столовой. Говорят, там есть даже коктейли.

— Точно, — сказал я, — я там как-то веселился. Коктейль «Загадка», мечта каботажника.

— Столик — это ерунда, — сказал Сергей, — он нам устраивает апельсины. Пойдем, — потянул он за руку Катю, — хватит тебе в очереди стоять.

Катя нерешительно посмотрела на меня.

— Идите, ребята, — сказал я, — идите, идите.

— Ты не идешь? — спросила Катя и освободилась от рук Сергея.

Сергей прямо сверкнул на меня очами, но сдержался.

— Пойми, — сказал он мне, — просто неудобно нам здесь стоять. Здесь много наших рабочих.

— Ага, — кивнул я, — авторитет руководителя, принцип единоначалия, кадры репают все.

Катя засмеялась.

— А о ней ты не думаешь? — спросил Сергей.

— Нет, я на нее чихать хотел.

Катя опять засмеялась.

— Иди, Сережа, а я тут с этим подонком расправлюсь.

— Тут матом ругаются, — как-то растерянно сказал Сергей.

Катя прямо покатила со смеху.

— Ничего, — сказал я, — мы с ней и сами матерщинники первостатейные.

Он все-таки ушел. Ему, видно, очень нужно было уйти. Я даже пожалел его, так ему не хотелось уходить.

— Смешной он у нас, правда? — сказала Катя, глядя вслед Сергею.

— Он в тебя влюблен.

— Господи, как будто я не знаю.

— Ты про всех знаешь?

— Про всех.

— Нелегко тебе.

— Конечно, нелегко.

— А туфельки? Ты их забыла в тот вечер, когда в клубе выступала владивостокская эстрада?

— А, вспомнил! Ведь ты в тот вечер увлекся «жанровыми песнями»...

— Должен же я иногда...

— Фу ты, какой идиотизм. Конечно, ты должен. Мне-то что!

— Катя!

— Мы танцевали у Сергея. Все было так романтично и современно — освещение и все... Потом я влезла в свои чеботы, а туфли забыла. Он не такой нахальный, как ты.

— Я нахальный, да?

— Конечно, ты нахал. Запроси Владивосток, и тебе ответят, кто ты такой.

— А он душевный, да? Все свои горести ты ему поведала, правда? Такой добрый, благородный силач.

— Коленька! А как же дальше мне быть?..

— Пойдем погуляем.

Мы вышли из очереди и взобрались на бугор. Отсюда была видна вся бухта Талого и сам городок, до странно-сти похожий на Гагру. Он тянулся узкой светящейся линией у подножия сопки. Обледенелая, дымящаяся, взвзвывая за ум Гагра.

— Ну и ну! — воскликнула Катя. — Действительно, он похож на Гагру, и даже железная дорога проходит точно так же.

— Только здесь узкоколейка.

— Да, здесь узкоколейка.

В сплошной черноте, далеко в море работала мигалка, зажигалась на счет 16.

— Встретились бы мы в Гагре года два назад.

— Что бы ты тогда сделал?

— Мы были бы с тобой...

— Ладно, молчи уж, — сердито сказала она.

Мы медленно шли, взявшись под руки. 1, 2, 3, хватит хихиканья, 5, 6, 7, она вся сжалась от страха, 9, 10, 11, я не могу об этом говорить, 13, я должен, не ей же говорить об этом, 15, нет, я не могу, вот сейчас...

Мы зашли за какие-то сарай, и она прижалась ко мне.

— Ты хочешь, чтобы я сама сказала? — сурово спросила она.

— Нет.

— Чего ты хочешь?

Впервые я сам отодвинулся от нее. Она понимающе кивнула, вытащила сигарету и стала мять ее в руках. Я дал ей огня.

За сарай, шумно дыша, забежали девушка и парень. Они сразу же бросились друг к другу и начали целоваться. Нас они не замечали, ничего они не замечали на свете. Я обнял Катю за плечи. Она через силу улыбнулась, глядя на целующихся. Тут я узнал их — это были Витька Колтыга и та девица из Шлакоблоков, что критиковала меня на собрании.

Мы обменялись с ними какими-то шуточками, и я повел Катю прочь отсюда. Мы вышли из-за деревьев и медленно пошли к столовой, к очереди за апельсинами. Там было шумно, очередь сбилась в толпу, кажется, началась свалка, но во мне еще теплилась необоснованная надежда на то, что на нашу долю что-нибудь достанется.

— Я это сказала просто так, — проговорила Катя, глядя себе под ноги. — Ты ведь понимаешь?

— Конечно.

— Ну вот и все.

Свалилось же на меня такое, подумал я. Раньше я не обижал девочек, и они на меня не обижались. Все было просто и легко, немного романтики, немного слюнтяйства, приятные воспоминания. Свалилось же на меня такое. Что делать? Меня этому не научили. «Для любви нет преград», — читаем мы в книгах. Глупости это, тысячи неодолимых преград порой встают перед любовью, об этом тоже написано в книгах. Но ведь Катя — это не любовь, это часть меня самого, это моя юность, моя живая вода.

Толпа пришла в смутное движение. Размахивали руками. Кажется, кто-то уже получил по зубам. Несколько

парней из нашего треста пробежали мимо, на ходу растегивая полушубки.

— Что там такое, ребята? — крикнул я им вслед.

— Бичи без очереди полезли!

— Вперед, Калчанов! — засмеялась Катя. — Вперед, в атаку! Труба зовет! Ты уже трепещешь, как боевой конь.

— Знаешь, как меня называли в школе? — сказал я ей. — Панч Жестокий удар.

— В самом деле? — удивилась Катя. — Тогда вперед! Колька, не смей! Колька, куда ты?!

Но я уже бежал.

Ох, сейчас мне достанется, думал я. Ох, сейчас мне отскочит битка! Сейчас я получу то, что мне полагается за все сегодняшние фокусы. Я втерся в толпу. Пока еще не дрались. Пока еще только напирали. Пока еще шел суровый разговор.

— Сознание у вас есть или нет?

— А ты мои гроши считал?

— Чего ты с ним разговариваешь, Лень! Чего ты с ним толковищу ведешь? Дай ему по кумполу!

— Трудящиеся в очереди стоят, а бичам подавай апельсинчик на блюдечке!

— А это не простые бичи, а королевские!

— Спекулянты!

— Я тебя съем, паскуда, и пуговицы не выплону!

— Лёнь, че ты с ним разговариваешь!

— Пустите меня, я из инфекционной больницы выпи-сался!

— Назад, кусочники!

— А тебе жалко, да? Жалко?

— Жалко у пчелки...

— Я тебя без соли съем, понял?

— Пустите меня, я заразный!

Косматый драный бич вдруг скрипнул зубами и закричал визгливо, заверещал:

— Всех нерусской нации вон из очереди!

На секунду наступило молчание, потом несколько парней насело на косматого.

— Дави фашиста! — кричали они.

— Давайте-ка, мальчики, вынесем их отсюда! — командовал Витька Колтыга.

Конечно, он уж был здесь и верховодил — прощай любовь в начале мая.

Засвистели кулачки, замолкли голоса, только кряхтели, ухали, давились снегом дерущиеся люди. Меня толкали, швыряли, сдавливали, несколько раз ненароком мне попадало по шее, и слышался голос: «Прости, обознался». Никто толком не знал, кого бить, на бичах не было особой формы. Со всех сторон к нашей неистовой куче бежали люди.

— Делай, как я! — закричал какой-то летчик своим приятелям, и они врзались в гущу тел, отсекая дерущуюся толпу от весов, возле которых попрыгивали и дули себе на пальцы равнодушные продавщицы. Я полез вслед за летчиками и наконец-то получил прямой удар в челюсть.

Длинный бич, который меня стукнул, уже замахивался на другого. Я заметил растерянное лицо длинного, казалось, он действует словно спросонья. Двумя ударами я свалил его на снег.

Толпа откачнулась, а я остался стоять над ворочающимся в снегу телом.

— Дай руку, борода! — мирно сказал длинный.

Я помог ему встать и снова принял боксерскую стойку.

— Крепко бьешь, — сказал длинный.

Я ощущал свою челюсть.

— Ты тоже ничего.

Он отряхнулся.

— Пошли шампанского выпьем?

— Шампанского, да? — переспросил я. — Это идея.



11

КОРЕНЬ

В общем-то никто из нашей компании апельсинами по-настоящему не интересовался, но Вовик обещал выставить каждому по полбанки за общее дело. Апельсинчики ему были нужны для какого-то шахер-махера.

Сначала он передал через головы деньги своему корешу, который уже очередь выстоял, и тот взял ему четыре кило. По четыре кило выдавали этого продукта. По-

том к этому корешу подошел Петька, и тоже взял четыре кило. Очередь стала напирать. Кореш Вовика лаялся с очередью и сдерживал напор. Когда к корешу подлез Полтора-Ивана, очередь расстроилась и окружила нас. Началось толковище. Вовик стал припадочного из себя изображать. Такой заводной мужик этот Вовик. Ведь гиблое дело, когда тебя окружает в десять раз больше, чем у тебя, народу и начинается толковище. Ясно ведь, что тут керосином пахнет, небось уже какой-нибудь мил-человек за милицией побег, а он тут цирк разыгрывает.

Надо было сматываться, но не мог же я от своих уйти, а наши уже кидались на людей, Вовик их завел своей истерикой, и, значит, вот-вот должна была начаться «Варфоломеевская битва».

Значит, встречать мне своего папашку с хорошим фингалом на фотографии. Скажу, что за комингс зацепился. Навру чего-нибудь. А вдруг на пятнадцать суток загремлю?

Ну надо же, надо же! Всегда вот так: только начинаешь строить планы личного благоустройства, как моментально вляпываешься в милую историю. Стыд-позор на всю Европу. А еще и Люська здесь. Я ее видел с тем пареньком, с Витенькой Колтыгой.

Смотрю, Вовик берет кого-то за грудки, а Полтора-Ивана заразного из себя начинает изображать. Чувствую, всё, сам я завожусь. Чувствую, лезу к кому-то. Чувствую, заехал кому-то. Чувствую, мне каким-то боком отскочило. Чувствую, дерусь, позорник, и отваливаю направо и налево. Прямо страх меня берет, как будто какой-то другой человек пролез в мой организм.

Тут посыпались у меня искры из глаз, и я бухнулся в снег. Кто-то спиш меня двойным боксерским ударом. Тут я очухался, и все зверство во мне мигом прошло, испарилось в два счета.

Сбил меня паренек, вроде даже щупленький с виду, но спортивный, бородатый такой, должно быть геолог из столичных. Те, как в наши края приезжают, сразу запускают бороды. Вовремя он меня с копыт снял.

Наши уже драпали во все стороны как зайцы. Вовик убежал, и Петька, и Полтора-Ивана, и другие.

— Пойдем шампанского выпьем,— предложил я бордатуму.

Свой парень, сразу согласился, веселый паренек.

— Пошли в «Маяк», угощаю, — сказал я ему.

Денег у меня, конечно, не было, но я решил Эсфирь Наумовну уломать. Пусть запишет на меня, должен же я угостить этого паренька за хороший и своевременный удар.

— Пошли, старик, — засмеялся он.

— А ты с какого года? — спросил я его.

— С тридцать восьмого.

— Совсем пацан, ей-богу. Действительно, я старик. Небось десятилетка за плечами? — спрашиваю я его.

— Институт, — отвечает. — Я строитель. Инженер.

И тут подходит к нам девица, такая, братцы, красавица, такая стилияга, прямо с картинки.

— Катька, знакомься, — говорит мой дружок, — это мой спарринг-партнер. Пошли с нами шампанское пить.

— А мы очередь не прозеваем, Колька? — говорит девица и подает мне руку в варежке.

А я, дурак, свою рукавицу снимаю.

— Корень, — говорю, — тьфу ты, Валькой меня зовут... Валентин Костюковский.

Пошли мы втроем, а Катюшка эта берет нас обоих под руки, понял? Нет, уговорю я Эсфирь Наумовну еще и на шоколадные конфеты.

— Крепко бьет ваш Колька, — говорю я Катюше. — Точно бьет и сильно.

— Он у меня такой, — смеется она.

А Колька, гляжу, темнеет. Такой ведь счастливый, гад, а хмурится еще. На его месте я бы забыл, что такое хмурость. Пацан ведь еще, а институт уже за плечами, специальность дефицитная на руках, жилплощадь небось есть, и девушка такая, господи боже.

В хвосте очереди я заметил Петьку. Он пристраивался, а его гнали, как нарушителя порядка.

— Да я же честно хочу! — кричал Петька. — По очереди. Совесть у вас есть, ребята, аль съели вы ее? Валька, совесть у них есть?

— Кончай позориться, — шепнул я ему.

А Катя вдруг остановилась.

— Правда, товарищи, — говорила она, — что уж вы, он ведь осознал свои ошибки. Он ведь тоже апельсинов хочет.

— В жизни я этого продукта не употреблял, — захныкал Петька. — Совесть у вас есть, или вас не мама родила?

— Ладно, — говорят ему в хвосте, — вставай, все равно не хватит.

— Однако надежда есть, — повеселел Петька.

В столовой был уют, народу немного. Проигрыватель выдавал легкую музыку. Все было так, как будто снаружи никто и не дрался, как будто там и очереди нет никакой. С Эсфирь Наумовой я мигом договорился.

Люблю шампанское я, братцы. Какое-то от него происходит легкое кружение головы и веселенькие мысли начинают прыгать в башке. Так бы весь век я провел под действием шампанского, а спирт, ребята, ничего, кроме мрачности, в общем итоге не дает.

— Это ты верно подметил, — говорит Колька. — Давно бичуешь?

Так как-то он по-хорошему меня спросил, что сразу мне захотелось рассказать ему всю свою жизнь. Такое было впечатление, что он бы меня слушал. Только я не стал рассказывать: чего людям настроение портить?

Вдруг я увидел капитана «Зюйда», этого дьявола Володю Сакуненко. Он стоял у буфета и покупал какой-то дамочке конфеты.

Я извинился перед обществом и сразу пошел к нему. Шампанское давало мне эту легкость.

— Привет, капитан, — говорю ему.

— А, Корень, — удивляется он.

— Чтоб так сразу на будущее, — говорю, — не Корень, а Валя Костюковский, понятно?

— Понятно, — и кивает на меня дамочке, — вот, познакомьтесь, любопытный экземпляр.

— Так чтобы на будущее, — сказал я, — никаких экземпляров, понятно? Матрос Костюковский, и все.

И протягиваю Сакуненко с дамой коробку «Герцеговины Флор», конечно, из лежалой партии, малость плесенью потягивают, но зато — марка. Чуть я при деньгах, или к Эсфирь Наумовне заворачиваю в «Маячок», сразу беру себе «Герцеговину Флор» и курю, как какой-то крупный деятель. Такая уж у меня слабость на эти папиросы.

— Слушай, капитан, — говорю я Сакуненко. — Когда в море уходите и куда?

— На сайру опять, — говорит капитан, а сам кашляет от «Герцеговины» и смотрит на меня сквозь дым пронзительным взглядом. — К Шикотану, через пару деньков.

— Ах, Володя, почему вы меня не хотите взять, —

сказала дамочка, — право, почему, ведь это можно оформить в официальном порядке.

— Обождите, гражданка, — сказал я. — А что, Сакуненко, у вас сейчас комплект?

— А что? — говорит он и на дамочку ноль внимания.

— А что, Сакуненко, — спрашиваю, — имеешь на меня зуб?

— А как ты думаешь, Валя? — человечно так спрашивает Сакуненко.

— Законно, — говорю. — Есть за что.

Он на меня смотрит и молчит, и дамочка его притихла, не знаю уж, кем она ему приходится. И вдруг я говорю ему:

— Васильич!

Так на «Зюйде» его зовут из-за возраста. «Товарищ капитан» неудобно, для Владимира Васильевича молод, Володей звать по чину нельзя, а вот Васильич — в самый раз, по-свойски, вроде и с уважением.

— Конечно, — говорю, — Васильич, ты понимаешь, шампанское мне сейчас дает легкость, но, может, запишешь меня в судовую роль? Мне сейчас вот так надо в море.

— Пойдем, поговорим, — хмурится Сакуненко.



12

ГЕРМАН КОВАЛЕВ

Мне даже подраться как следует не удалось — так быстро бичей разогнали. Очередь выровнялась. Снова заиграла гармошка. Девушки с равнодушными лицами снова пустились в пляс, а нанайцы уселись у своего костра. На снегу лежал разорванный пакет. Несколько апельсинов выкатилось из него. Как будто пакет упал с неба, как

будто его сбросили с самолета, как будто это подарок судьбы. Прекрасно, это будет темой моих новых стихов.

Мне стало вдруг весело и хорошо, словно и не произошло у меня только что крушение любви. Мне вдруг показалось, что весь этот вечер, вся эта история с апельсинами — любительский спектакль в Доме культуры моряков, и я в нём играю не последнюю роль, и все вокруг такие теплые, свои ребята, и бутафория сделана неплохо, только немного неправдоподобно, словно в детских книжках: луна, и серебристый снег, и сопки, и домики в сугробах, но скоро мой выход, скоро прибежит моя партнерша в модном пальтеце и в валенках.

А впереди у меня целых два дня, только через два дня мы выходим в море.

Я подобрал апельсины и понес их к весам.

— Чудик, — сказали мне ребята, — лопай сам. Твой трофей.

— Чудик, — сказала продавщица, — за них же плочено.

— Да что вы! — сказал я. — Этот пакет с неба упал.

— Тем более, — говорят.

Тогда я стал всех угощать, каждый желающий мог получить из моих рук апельсин, ведь с неба обычно сбрасывают не для одного, а для всех. Я был дед-мороз, и вдруг я увидел Нину, она пробиралась ко мне.

— Гера, мы пойдем танцевать? — спросила она. От нее веяло морозным апельсиновым ароматом, а на губах у нее смерзлись корочки из апельсинового сока.

— Сейчас пойдем! — крикнул я. — Сейчас, наша очередь подходит.

Вскоре подошла наша очередь, и мы все, весь «Зюйд», повалили в столовую. Я вел Нину под руку, другой рукой прижимал к телу пакеты.

— Я все что угодно могу танцевать, — лепетала Нина, — вот увидите, все что угодно. И липси, и вальс-гавот, и даже, — она шепнула мне на ухо, — рок-н-ролл...

— За рок-н-ролл дают по шее, — сказал я, — да я все равно ничего не умею, кроме танго.

— Танго — мой любимый танец.

Я посмотрел на нее. Понятно, все мое любимое теперь станет всем твоим любимым, это понятно и так.

Мы сдвинули три столика и расселись всем экипажем. Верховодил, как всегда, чиф.

— Эсфирь Наумовна, — шутил он, — «Зюйд» вас ждет!

А апельсины уже красовались на столе маленькими кучками перед каждым. Потом мы смешали их в одну огромную светящуюся внутренним огнем кучу.

Подошла официантка и, следя за пальцами чифа, стала извиняться:

— Этого нет. И этого нет, Петрович. Старое меню. И этого нету, моряки.

— Тогда по два вторых и прочее и прочее! — весело вскричал чиф.

— Это вы будете иметь, — обрадовалась она.

Наш радист Женя встал из-за стола и пошел беспокоиться насчет освещения. Он решил запечатлеть нас на фото.

Когда он навел аппарат, я положил руку на спинку Нинкиного стула. Я думал, Нина не заметила, но она повела своим остреньким носиком, заметила. Кажется, все это заметили. Чиф подмигнул стармеху. А Боря и Иван сделали вид, что не заметили. Заметила это Люся Кравченко, которая шла в этот момент мимо, она улыбнулась не мне и не Нине, а так. Мне вдруг стало чертовски стыдно, потом прямо я весь покрылся. «Ветерок листву едва колышет», тьфу ты черт... На кой черт я писал эти стихи да еще посылал их по почте? Когда уже я брошу это занятие, когда уж я стану настоящим парнем?

Я положил Нине руку прямо на плечо, даже сжал плечо немного. Ну и худенькое плечико!

Как только щелкнул затвор, Нина дернулась.

— Какой вы, Гера, — прошептала она.

— Какой же? — цинично усмехнулся я.

— Какой-то несобранный.

— Служба такая, — глупо ответил я и опять покраснел.

Официантка шла к нам. Она тащила огромный поднос, заставленный бутылками и тарелками. Это была такая гора, что голова официантки еле виднелась над ней, а на голых ее руках вздулись такие бицепсы, что дай бог любому мужику. Снизу руки были мягкие и колыхались, а сверху надулись бицепсами.

Чиф налил ей коньяку, она благодарно кивнула, спрятала фужер под фартук и отошла за шторку. Я видел, как она по-мужски опрокинула этот фужер. Ну и официантка! Такая с виду домашняя тетушка, а так глушит. Мне бы так!

Я хмелею быстро. Не умею я пить, что ты будешь делать.

Иван и Боря закусывали и строго глядели на Нину. А Нина чувствовала их взгляды и ела очень деликатно.

— Ты ему письма-то пиши, — сказал Иван ей, — он у нас знаешь какой. Будешь писать?

Нина посмотрела на него и словно слезы проглотила. Кивнула.

— Ты лучше ему радиogramмы посылай, — посоветовал Боря. — Очень бывает приятно в море получить радиogramму. Будешь?

— Ну, буду, буду, — сердито сказала она.

Ей, конечно, было странно, что ребята вмешиваются в наши интимные отношения. Заиграла музыка. Шипела, скрипела, спотыкалась игла на пластинке.

— Это танго, — сказала Нина в тарелку.

— Пойдем! — я сжал ее локоть.

Мне сейчас все было ни о чем. Мне сейчас казалось, что я и впрямь умею танцевать танго.

Мы танцевали, не знаю уж как, кажется, неплохо, кажется, замечательно, кажется, лучше всех. Хриплый женский голос пел:

Говорите мне о любви,
Говорите мне снова и снова,
Я без усталости слушать готова,
Там-нам-па-пи...

Этот припев повторялся несколько раз, а я никак не мог расслышать последнюю строчку.

Говорите мне о любви,
Говорите мне снова и снова,
Я без усталости слушать готова,
Там-нам-па-пи...

Это раздражало меня. Слова все повторялись, и последняя строчка исчезала в шипении и скрежете заезженной пластинки.

— Что она там поет? Никак не могу разобрать.

— Поставьте еще раз, — прошептала Нина.



13

.КОРЕНЬ

— Хочешь, Васильич, я тебе всю свою жизнь расскажу?

И я рассказываю, понял, про все свои дела, и про папашу своего, и про детство, и про зверобойную шхуну «Пламя», и сам не пойму, откуда берется у меня складность, чешу, прямо как Вовик, а капитан Сакуненко меня слу-

шает, сигаретки курит, и дамочка притихла, гуляем мы вдоль очереди.

Вот ведь что шампанское сегодня со мной делает. Раньше я его пил как воду. Брал на завтрак бутылку полусладкого, полбатона и котлетку. Не знаю, что такое, может, здоровьем я качнулся.

— Боже мой, это же целый роман! — ахает дамочка.

— Я так понимаю, — говорит капитан, — что любая жизнь — это роман. Вот сколько в очереди людей, столько и романов. Может, неверно говорю, Ирина Николаевна?

— Может, и верно, Володя, но не зовите меня по отчеству, мы же договорились.

— Ну вот и напишите роман.

Задумалась дамочка.

— Нет, про Костюковского я бы не стала писать, я бы про вас, Володя, написала, вы положительный герой.

Ну и дамочки пошли, ребята! Ну что ты скажешь, а?

Володя прямо не знает, куда деваться.

— Может, вы отойдете, а? — спрашивает он дамочку. — Мне надо с матросом конструктивно, что ли, вернее коллегиально, ну, в общем, конфиденциально надо бы с матросом поговорить.

— Хорошо, — говорит она. — Я вас в столовой обожду.

Отвалила наконец. Капитан даже вздохнул с облегчением.

— Слушай, Валя, — говорит он мне, — я, конечно, понимаю твои тяжелые дела, и матрос ты, в общем, хороший... А место у нас есть: Кеша, знаешь, в армию уходит... Но только чтоб без заскоков! Понял? — заорал он в полный голос.

— Ладно, ладно, — говорю. — Ты меня на горло не бери. Знаю, что орать ты здоров, Васильич.

Он почесал в затылке.

— В отделе кадров как бы это провернуть? Скажу, что на исправление тебя берем. Будем, мол, влиять на него своим мощным коллективом.

— Ну, ладно, влияйте, — согласился я.

— Пошли, — говорит он, — наши уже в «Маячке» заседают. Представлю тебя экипажу.

— Только знаешь, Васильич, спокойно давай, без церемоний. Вот, мол, товарищ Костюковский имеет честь влиться в наш славный трудовой экипаж, и все, тихонько так, без речей.

— Нахалюга ты, — смеется он. — Ну, смотри... Чуть чего — на Шпкотане высадим.

В столовой первой, кого я встретил, была Люся Кравченко. Она танцевала в объятиях своего бурильщика.

— Че-то, Люся, вы сияете, как блин с маслом? — сказал я ей.

Характер у меня такой: чуть дела на лад пошли, становлюсь великосветским нахалом.

— Есть причины, — улыбнулась она и голову склонила к его плечу.

— Вижу, вижу.

Я вспомнил вкус ее щеки, разок мне все же удалось поцеловать ее в щеку, а дралась она как чертенок, я вспомнил и улыбнулся ей, показывая, про что я вспомнил. А она мне как будто ответила: «Ну и что? Мало ли что!»

Витька же ничего не видел и не слышал, завелся он, видно, по-страшному. Сакуненко уже сидел во главе стола и показывал мне: место есть. А меня кто-то за пуговицу потянул к другому столику. Смотрю — Вовик. Сидит, шустряга, за столиком, кушает шашлык, вино плодово-ягодное употребляет, и даже пара апельсинчиков перед ним.

— Садись, Валька, — говорит. — Поешь, — говорит, — поешь, Корень, малость, и гребем отсюда. Дело есть.

— Поди ты со своими делами туда-то, вот туда-то и еще раз подальше.

— Ты что, рехнулся, дурака кусок?

— Катись, Вовик, по своим делам, а я здесь останусь.

— Забыл, подлюга, про моряцкую спайку?

Тогда я постучал ножичком по фужеру да как крикну:

— Официант, смените собеседника!

На том моя дружба с Вовиком и окончилась.

Я подходил к столу «Зюйда» и выглядывал, кто там новенький и кого я знаю.

Сел я рядом с Сакуненко, и на меня все уставились, потому что уж меня-то все знают, кто на Петрово базируется или на Талый, а также из рыбокомбината и из всех прибрежных артелей, — по всему побережью я успел побичевать.

— Привет, матросы! — сказал я.

Сразу ко мне Эсфирь Наумовна подплыла, жалеет она меня.

— Чего, Валечка, будете кушать? — спрашивает, а

сама, бедная, уже хороша. Поцеловал я ее трудовую руку

— Чем угостите, Эсфирь Наумовна, все приму.

— Вы будете это иметь, — сказала она и пошла враскачку, морская душа. Может, когда под ней пол качается, она воображает, что все еще на палубе «Чичирёва»?

— Пьяная женщина, — говорит дамочка, что роман про Володю нашего Сакуненко собирается писать, — отвратительное зрелище.

— Помолчала бы, дама! — крикнул я. — Чего вы знаете про нее? Простите, — сказал я, подумав, — с языка сорвалось.

Но на «Зюйде» не обиделись на меня. Там всё знали про Эсфирь Наумовну.

Ну вот, как будто отвернул я в последний момент, как будто прошел мимо камней, и радиолоа играет, и снова я — матрос «Зюйда», и апельсинчики на столе теплой горой, а завтра, должно быть, прилетит папаша, профессор кислых щей, член общества разных знаний, наверное, завтра прилетит, если Хабаровск даст вылет, только много ли будет радости от этой встречи?



14

ЛЮДМИЛА КРАВЧЕНКО

Он познакомил меня со всеми своими друзьями. Я была рада, что у меня появились новые знакомые, разведчики наших недр. Мы заняли столик в столовой и расселись вокруг в тесноте, да не в обиде: Леня, Юра, Миша, Володя, Евдошук, Чудаков, мой Витя и я. Столовая уже была набита битком. Сквозь разноголосый шум чуть слышна была радиолка, но танцующих было много, каждый, на-

верно, танцевал под свою собственную музыку. Все наши девочки танцевали и улыбались мне, а Нинка, кажется, забыла обо всем на свете, забыла о Васильевском острове и о Мраморном зале. Хорошо я сделала, что познакомила ее с Герой Ковалевым. Кажется, они смогут найти общий язык.

А на столе у нас грудями лежали апельсины, стояли бутылки, дымилась горячая еда. Сервировка, конечно, была не на высоте, не то что у нас в вокзальном ресторане, но зато здесь никто не торопился, никто не стремился за тридцать минут получить все тридцать три удовольствия, все, по-моему, были счастливы в этот удивительный вечер. Сверху светили лампы, а снизу — апельсины. И Витина рука лежала на моем плече, и в папиросном дыму на меня смотрели его светлые сумасшедшие глаза, в которых будто бы все остановилось. Это было даже немного неприлично. Незаметно я сняла его руку со своего плеча, и в глазах у него что-то шевельнулось, замелькали смешные искорки, и он встал с бокалом в руках.

— Елки-моталки, ребята! — сказал он.

Придется его отучить от подобных выражений.

— Давайте выпьем за Кичекьяна и за наш поиск! Что-то кажется мне, что не зря мы болтались в этих Швейцарских Альпах. Честно, ребята, гремит сейчас фонтан на нашей буровой.

— В башке у тебя фонтан гремит! — сказал Леня.

— И еще кое-где, — добавил Евдошук.

Все засмеялись, а Виктор запальчиво закричал:

— Нытики! Мне моя индукция подсказывает! Я своей индукции верю! Хочешь, поспорим! — обратился он к Лене. Но тот почему-то не стал спорить, видно, Виктор так на него подействовал, что он сам поверил в нефть.

Я сначала не поняла, что за индукция, а потом сообразила: наверно, интуиция — надо сказать ему.

— А нас там не будет, — сказал Юра, — обидно.

— Главное, там Айрапет будет, — сказал Леня, — пусть он первым руки в нефти поможет, это его право. Со всем он отощал на этом деле.

— И про жену даже забыл, — добавил Леня и посмотрел куда-то в угол. — Боком ему может выйти эта нефть.

— Да уж, не знаешь, где найдешь, где потеряешь, — пробормотал Евдошук и поперхнулся, взглянув на меня.

— Пойдем танцевать, — пригласил меня Виктор.

Танцевать было трудно, со всех сторон толкали, лучше было бы просто обняться и раскачиваться на одном месте под музыку. Слева от нас танцевала наша Сима с огромным мужчиной в морской тужурке. Вот, значит, чьи это тельняшечки. Они были так огромны, Сима и ее кавалер, что просто казались какими-то нездешними людьми. Сима томно мне улыбнулась и склонила голову на плечо своему молодцу.

— Витя, тебе нравится твоя работа?

— Я тебе знаешь что скажу, материально я обеспечен...

— Я не о том. Тебе нравится искать нефть?

— Мне больше нравится ее находить.

— Это, наверное, здорово, да?

— Когда бьет фонтан? Да, это здорово. И газ — это тоже здорово, когда газ горит. Знаешь, пламя во все небо, а мы нагнетаем пульпу, чтобы его загасить, а оно не сдается, жарко вокруг, мы все мокрые, прямо война.

— Хорошо, когда такая война, да?

— Только такая. Любую другую к чертям собачьим.

Скрипела заезженная пластинка, вернее, даже не пластинка, а вставшая коробом рентгеновская пленка.

Говорите мне о любви,
Говорите мне снова и снова,
Я без усталости слушаю готова,
Там-пам-ра-ри...

— Знаешь, Виктор, здесь все изменится. Вы найдете нефть, а мы построим красивые города...

— Ну конечно, здесь все изменится, рай здесь будет, райские кущи...

— А правда, может, здесь и климат изменится. Может быть, здесь будут расти свои, наши апельсины.

— Законно.

— Ты не шути!

— А сейчас тебе здесь не нравится, дитя юга?

— Сейчас мне нравится... Витя! Витя, нельзя же так, ты с ума сошел...

Говорите мне о любви,
Говорите мне снова и снова,
Я без усталости слушаю готова,
Там-пам-ра-ри...

— Что она готова слушать без устали? Никак не могу расслышать.

Я тоже не слышала последних слов, но я знала, что можно слушать без устали.

Там-пам-ра-ри.

Я без устали слушать готова твое дыхание, стук твоего сердца, твои шутки.

— Иди поставь эту пластинку еще раз.



15

ВИКТОР КОЛТЫГА

Не одобряю я ребят, которые любят фотографироваться в ресторанах или там в столовых ресторанныго типа. В обычной столовой никому в голову не придет фотографироваться, но если есть наценка, и рытый бархат на окнах, и меню с твердой корочкой, тогда, значит, обязательно необходимо запечатлеть на веки вечные исторический момент посещения ресторана.

Как-то сидел я в Хабаровске в ресторане «Уссури», сидел себе, спокойно кушал, а вокруг черт те что творилось, можно было подумать, что собрались сплошные фотокорреспонденты и идет прием какого-нибудь африканского начальника.

Вообще-то ребят можно понять. Когда полгода загорает в палатке или в кубрике и кушаешь прямо из консервной банки, и вдруг видишь чистые скатерти, рюмочки и джаз-оркестр, ясно, что хочется увековечиться на этом фоне.

Но я этого не люблю, не придаю я большого значения этим событиям, ресторанов я на своем веку повидал достаточно. Правда, когда молодой был, собирал сувениры. Была у меня целая коллекция: меню на трех языках из московского «Савоя», вилка из «Золотого Рога» во Владивостоке, рюмка из магаданского «Севера». Молодой был, не понимал. Все это ерунда на постном масле, но, конечно, приятно закусывать под музыку.

Ленька сделал шесть или семь снимков. В последний раз я плюнул на все и прямо обнял Люську, прижался лицом к ее лицу. Она и не успела вывернуться, а может быть, и не захотела. Честно говоря, я просто не понимал, что с ней стало в этот вечер. Она стала такой, что у меня голова кругом шла, какие там серьезные намерения, я просто хотел ее любить всю жизнь и еще немного. Наверное, во всем этом апельсины виноваты.

— А вам я сделаю двойной портрет, — сказал Ленька. — Голубок и голубка. Люби меня, как я тебя, и будем мы с тобой друзья.

Я только рот раскрыл, даже ничего не смог ему ответить. Окаянные апельсинчики, дары природы, что вы со мной делаете?

— Люська, — шепнул я ей на ухо.

Она только улыбнулась, делая вид, что смотрит на Юру.

— Люська, — снова шепнул я. — Нам комнату дадут в Фосфатке.

А Юра потребовал себе вазу. Он сложил свои апельсины в эту художественную вазу зеленого стекла, придвинул ее к себе и, закрываясь ладонью, искоса глядя на оранжевую гору апельсинов, пробормотал прямо с каким-то придыханием:

— Сейчас мы их будем кушать...

Наконец Эсфирь Наумовна вылезла к нам из трясущейся толпы танцоров. Она подала мне две бутылки «Чечено-ингушского» и, пока я их открывал, стояла рядом, заложив руки под передник.

— Какая у вас невеста, Витенька, — приговаривала она. — Очень замечательная девочка. Вы имеете лучшую невесту на берегу, Витя, это я вам говорю.

— Только последнюю, Эсфирь Наумовна, ладно?

— Да-да, Витя, что вы!

— Дайте слово, что больше не будете, Эсфирь Наумовна!

— Чтоб я так здорова была.

Я налил ей рюмочку, и она ушла, спрятав ее под фартук.

— Почему она пьет? — шепотом спросила Люся. — Что с ней?

— У нее сын утонул. Они вместе плавали на «Чичиреве», она буфетчицей, а он механиком. Ну, она спаслась, а он утонул. Моих лет примерно паренек.

— Господи! — выдохнула Люся.

Она вся побелела и прикрыла глаза, закусила губы. Вот уж не думал, что она такая.

— Хорошо, что ты не моряк, — зашептала она. — Я бы с ума сошла, если бы ты был моряком.

— Спокойно, — сказал я. — Я не моряк, на земле не тонут.

На земле действительно не тонут, подумал я. На земле другие штуки случаются, особенно на той земле, по которой мы прокладываем свои маршруты. Я вспомнил Чижикова. Он сейчас мог бы сидеть вместе с нами и апельсинчики рубать.

Тут я заметил, что Леня, Чудаков и Евдошук шепчутся между собой и поглядывают куда-то довольно зловеще. Проследив направление их трассирующих взглядов, я понял, в чем дело. Далась же им эта Катя. Черт знает что в голову лезет этим парням. Они не знают, что Катька и при муже чаще всего танцует с Калчановым. Калчанов хорошо танцует, а наш Айрапет в этом деле не силен.

Но тут я заметил, что танцуют они не просто так, а так, как мы танцевали с Люськой, только физиономии мрачные, что у него, что у нее. Что-то там неладное происходит, ясно. А где же Сергей?

А Сергей сидит в углу, как пулемет, направленный на

них, прямо еле сдерживается парень. Только наших тут еще не хватало.

Я поднял какой-то тост и переключил внимание публики на Юру, который даже не смотрел в сторону мясного, да и выпивкой не очень интересовался, а только рубал свои апельсинчики так, что за ушами трещало.

— Ну, Юра! — смеялись ребята.

— Ну и навитаминился ты. Считай, что в отпуск на юг съездил.

— В эту самую Марокку, — сказал Евдошук.

— Эй, Юра, у тебя уже листики из ушей растут!

В зале было жарко и весело. Многих из присутствующих я знал, да, впрочем, и все остальные мне казались в этот вечер знакомыми. Какой это был пир в знойном апельсиновом воздухе. Отличный пир! Я выбрал самый большой апельсин и очистил его так, что он раскрылся как бутон.

— Пойдем танцевать, — сказала Люся.

Она встала и пошла вперед. Я нарочно помедлил, и, когда она обернулась, заметил, какая она вся, и подумал, что жизнь Виктора Колтыги на текущий момент складывается неплохо, а если бы еще сегодня скважина дала нефть и началась бы обычная для этого дела сенсация, то я бы под шумок провел недельку с Люськой...

Почему-то я был уверен, что именно сегодня, именно в эту ночь в нашем миленьком распадке ударит фонтан.

— Тебе хорошо? — спросил я Люсю.

— Мне никогда не было так, — прошептала она. — Такой удивительный вечер. Апельсины... Правда, хорошо, когда апельсины? Я хотела бы, чтоб они были всегда. Нет, не нужно всегда, но хоть иногда, хотя бы раз в год...

Говорите мне о любви,
Говорите мне снова и снова,
Я без усталости слушаю готова,
Там-пам-ра-ри...

Опять я не мог разобрать последних слов.

— Пойду еще раз поставлю эту пластинку.

— Она уже всем надоела.

— Надо же разобрать слова.

Это была не пластинка, а покоробленная рентгеновская пленка. Звукосниматель еле справлялся с нею, а для того, чтобы она крутилась, в середине ее придавливали перевернутым фужером.



16

НИКОЛАЙ КАЛЧАНОВ

Я громко читал меню:

— Шашлык из козлятины со сложным гарниром!

Конечно, кто-то уже нарисовал в меню козла и написал призыв: «Пожуй и передай другому».

— Коктейль «Загадка», — читал я.

— Конфеты «Зоологические».

Катя веселилась вовсю.

— Сережа, ты уже разрешил все загадки? — спрашивала она. — Наверное, ты уже съел целого козла. Я слышала, в сопках стреляли, — наверное, специально для тебя загнали какого-нибудь архара. Колька, я правильно говорю: архара, да?

Сергей вяло улыбался и грел ее руки, взяв их в свои. Он был налитой и мрачный, должно быть, действительно много съел, да и выпил немало.

Когда мы заходили в столовую с галантным бичом, Костюковским, Сергей был еще свеж. Он ужинал вместе с заведующим, они чокались, протягивали друг другу сигареты и смеялись. Приятно было смотреть на Сережу, как он орудует вилкой и ножом, прикладывает к губам салфетку, — с таким человеком приятно сидеть за одним столом. Он махнул нам рукой, но мы чокнулись с Костюковским и пошли обратно в очередь.

Я, должно быть, еще мальчишка: меня удивляет, как Сергей может быть таким естественным и свойским в отношениях с пожилыми людьми традиционно-начальственного вида. Я просто теряюсь перед каракулевыми воротниками, не знаю я, как с ними нужно разговаривать, и поэтому или помалкиваю, или начинаю хамить.

Когда мы втроем прилетели в Фосфатогорск, Сергей как раз справлял новоселье. Он был потрясен тем, что мы приехали сюда, я и Арик, и, конечно, был потрясен Катей. А меня потрясло то, что Сергей стал моим начальником, и, разумеется, все мы были поражены его квартирой — уголком модерна на этой бесхитростной земле.

Конечно, мы были приглашены на новоселье. Мы очень монтировались, как говорят киношники, со всем интересом. Как ни странно, начальники и их жены тоже хорошо монтировались. Одну я сделал ошибку: пришел в пиджаке и в галстук. Сергей мне прямо об этом сказал: чего, мол, ты так церемонно, мог бы и в свитере прийти. Действительно, надо было мне прийти в моем толстом свитере.

Сергей обносил всех кофе и наливал какой-то изысканный коньячок, а начальники, в общем-то милые люди, вежливо всему удивлялись и говорили: вот она, молодежь, все у них по-новому, современные вкусы, но ничего, дельная все-таки молодежь. Ужасно меня смешат такие разговорчики.

Когда мы снова вошли в столовую уже с апельсинами в руках, Сергей сидел один. Мы подошли и сели к нему

за стол. Он был мрачен, курил сигарету «Олень», на столе перед ним стояла недопитая рюмка, рядом лежал тихо пиликающий приемник, а возле стола на полу валялась кожаная куртка и яйцевидный шлем. Бог его знает, что он думал о себе в этот момент, может быть, самые невероятные вещи.

Он дал нам возможность налюбоваться на него, а потом стал греть Катины руки.

— Доволен? — сказал он мне. — Доказал мне, да? Высек меня, да?

— Угости меня чем-нибудь, Сережа, — попросил я.

— Пей, — он кивнул на бутылку.

Я выпил.

— Женщине сначала наливают.

— Моя ошибка, — сказал я. — Давай, значит, так: ты грей женщине руки, а я буду наливать женщине.

Он выпустил ее руки.

— Удивляешь ты меня, Калчанов.

Катя подняла рюмку и засмеялась, сузив глаза.

— Он тебя еще не так удивит, подожди только. Сегодня день Калчанова, он всех удивляет, а завтра он еще больше всех удивит.

— Катя, — сказал я.

— Ты ведь думаешь, он просто так, — продолжала она, — а он не просто так. Он талант, если хочешь знать. Он — зодчий.

Я молчал, но мысленно я хватал ее за руки, я умолял ее не делать этой вивисекции, не надо так терзаться, молчи, молчи.

— Это ведь только так кажется, что ему всё шуточки, — продолжала она. — У него есть серьезное дело, дело его жизни...

— Неужели в самом деле? — поразился Сергей, с удовольствием помогая Катиному самоистязанию.

— Конечно. Он дьявольски талантлив. Он талантливей тебя, Сережа.

Сергей вздрогнул.

— Пойдем-ка танцевать, — сказал я, встал и потащил ее за руку.

— Ты зачем это делаешь? — спросил я, обнимая ее за талию.

Она усмехнулась.

— Пользуюсь напоследок правом красивой женщины.

Скоро я стану такой, что вы все со мной и разговаривать не захотите.

От нее пахло апельсиновым соком, и вся она была румяная, юная, прямо пионервожатая из «Артека», и ей очень не шел этот тон «роковой женщины». Мы затерялись в толкучке танцующих, казалось, что нас никто не видит, казалось, что за нами никто не наблюдает, и мы снова неумолимо сближались.

Крутился перевернутый фужер на проигрывателе, края пластинки были загнуты вверх, как поля шляпы, но все-таки звукосниматель срывал какие-то хриплые странные звуки. Я не мог различить ни мелодии, ни ритма, не разбираю ни слова, но мы все-таки танцевали.

— Успокоилась?

— Да.

— Больше этого не будет?

Я отодвинулся от нее, насколько позволяла толкучка.

— Давай, Катерина, расставим шапки по местам, вернемся к исходной позиции. Этот вариант не получается, все ясно.

— Тебе легко это сделать?

— Ну конечно. Все это ерунда по сравнению с теми задачами, которые... Точка. Ведь ты сама сказала: у меня есть большое дело, дело моей жизни.

— А у меня есть прекрасная формула: «Но я другому отдана и буду век ему верна». И кроме того, я преподавательница русского языка и литературы.

— Ну вот и прекрасно!

— Обними меня покрепче!

Без конца повторялась эта загадочная пластинка, ее ставили снова и снова, как будто весь зал стремился к разгадке.

— Этот вечер наш, Колька, договорились? А завтра — всё. Не каждый день приходят сюда пароходы с апельсинами.

Горит пламя — не чадит.

Надолго ли хватит?

Она меня не щадит,

Тратит меня, тратит...

Я вспомнил тихоголосого певца, спокойного, как астроном. Мне стало легче от этого воспоминания.

Жить не вечно молодым,
Скоро срок догонит,

Неразменным золотым
Покачусь с ладони...

Я построю города, и время утечет. Я сбрею бороду и стану красавцем, а потом заматерелым мужиком, а потом... Есть смысл строить на земле? Есть смысл!

Потемнят меня ветра,
Дождиком окатит.
А она щедра, щедра,
Надолго ли хватит...

А пока еще мы не знаем печали, не знаем усталости, и по темному узкому берегу летят наши слепящие фары, и наши пузатые самолеты, теряя высоту, садятся на маленькие аэродромы, и в шорохе рассыпающихся льдин, гудя сиренами, идут в Петрово и Талый ледаколы, и вот приходит «Кильдин» и мы с Катей танцуем в наш первый и последний вечер, а что здесь было раньше, при жизни Сталина, помни об этом, помни...

Катя была весела, как будто действительно поверила в эту условность. Она, смеясь, повела меня за руку к нашему столу, и я тоже начал смеяться, и мы очень удивили Сергея.

— Ты не джентльмен, — резко сказал он.

Пришлось встать и с благодарностью раскланяться. Какой уж я джентльмен? Сергей изолировался от нас, ушел в себя, и я, подстраиваясь под Катину игру, перестал его замечать, придвинулся к ней, взял ее за руку.

— Хочешь знать, что это такое?

— Да.

— Если хочешь знать, это вот что. Это душное лето, а я почему-то застрял в городе. Я стою во дворе десятиэтажного дома, увешанного бельем. На зубах у меня хрустит песок, а ветер двигает под ногами стаканчики из-под мороженого. Мне сорок лет, а тебе семнадцать, ты выходишь из-под арки с первыми каплями дождя.

— Простите, керя, — кто-то тронул меня за плечо.

Я поднял голову — надо мной стоял здоровый парень с пакетом апельсинов в руках. Это был один из дружков Виктора Колтыги, один из партии Айрапета.

— Вечер добрый, — сказал он и протянул пакет Кате, — это вам.

Она растерянно захлопала ресницами.

— Спасибо, но у меня есть. Зачем это?

— Для вашего мужа Айрапета Нара... Нара...

— Нарайровича, — машинально подсказала Катя.

Он поставил пакет на стол.

— Есть такая индукция, что нефть сегодня ударит. Может, в город приедет ваш муж, а ему фрукт нужен, как южному человеку. — Он помялся еще немного возле нас, но Катя молчала, и он пошел к своему столу. Я заметил, что с их стола на нас смотрят. Я увидел, что в Кате все взбаламучено, что в ней гремит сигнал тревоги, что ей нигде нет приюта, и я принял удар на себя. Я снова взял ее руку и сказал:

— Или наоборот, — дожди, дожди, дожди, переходный вальс в дощатом клубе. Я пионер старшего отряда, меня ребята высмеивают за неумение играть в футбол, а ты старшая пионервожатая, ты приглашаешь меня танцевать...

Сергей ударил меня ногой под столом. Я несколько опешил: что тут будешь делать, если человек начинает себя вести таким естественным образом?

В этот момент к нам протолкались с криками и шутками Стасик и Эдька Танака. Они свалили на стол свои апельсины, и Эдик стал жаловаться, что его девушка обманула, не ответила на чувство чемпиона, можешь себе представить, и мало того — танцует здесь, на его глазах с другим пареньком, танцует без конца под одну и ту же идиотскую пластинку.

— Понимаешь, я снимаю эту пластинку, а он подходит и снова ставит, я снимаю, а он опять ставит. Я его спрашиваю: нравится, да? А он говорит: слов не могу разобрать. А все остальные кричат: пусть играет, что тебе, жалко, надо же слова разобрать. Дались им эти слова!

— Пейте, ребята, — сказал я, — коктейль «Загадка».

— Роковая загадка, — сказал Стасик, отхлебнув. — Жалею я, ребята, свой организм.

За столом воцарилось веселье. Пришла Эсфирь Наумовна и что-то такое принесла. Эдька и Стаська рассказывали, с какими приключениями они ехали и какой ценой им достались апельсины, а я им рассказывал о своей богатырской схватке с Костюковским. Сергей все доказывал ребятам, что я сволочь, они с ним соглашались и только удивлялись, как он поведет назад свой мотоцикл.

А Катя тихо разгваривала с Эсфирью Наумовной. Я прислушался.

— Он был такой, — говорила Эсфирь Наумовна, — всякие эти танцы-шманцы его не интересовали. Он только книги читал, мой Лева, и не какие-нибудь романы, а всевозможные книги по технике. У него даже девочки не было никогда...

Я не знал, о чем идет речь, но понимал, что не о пустяках. Катя внимательно слушала подвыпившую официантку, она была бледна, и пальцы ее были сжаты, не было сил у меня смотреть на нее, и в это время из толпы танцующих выплыло заросшее черной бородой лицо Айрапета.

Катя вскочила. Ее муж, медленно переставляя ноги, подошел к нам.

— Здравствуй, девочка, — сказал он и на секунду прижался щекой к ее щеке.

— Арик, дружище! — заорал Сергей, тяжело наваливаясь на стол и глядя, как ни странно, на меня.

— Привет, ребята, — весело сказал Айрапет и опустился на стул. — Дайте чего-нибудь выпить.

Я видел, что усталость его тяжела, как гора, что он прямо подламывается под своими улыбками.

— Коктейль «Загадка», — сказал я и подвинул ему бокал.

— Что я вам, Угадайка, что ли? — сострил он. — Дайте коньяку.

Сзади медленно, деликатно приближались люди из его партии. У них прямо скулы свело от нетерпения.

— Ну, Арик? — спросила Катя.

— Ни черта! — махнул он рукой. — Сернистая вода. Все напрасно. Завтра встанем на новый маршрут.



17

А ЗАВТРА...

Кончился апельсиновый вечер. Будьте уверены, разговоров о нем хватит надолго. А завтра...

Впереди пойдут бульдозеры, за ними тракторы-тягачи потащат оборудование — вышку, станок, трубы... Может быть, вертолет перебросит часть людей, и они займутся расчисткой тайги для буровой площадки. К вечеру люди влезут в спальные мешки и погрузятся в свои мечты. Мо-

жет быть, Витя Колтыга найдет время полистать журнал «Знание — сила», а уж Базаревич-то наверняка повалится в снегу, а Кичекьян закроет глаза и услышит гремящий фонтан нефти.

Синоптики предсказывают безветренную погоду.

— Больше верьте этим брехунам,—ворчат на «Зюйде».

Вслед за ледоколом в шорохе размолотого льда пойдет флотилия сейнеров. Ледокол выведет их к теплому течению и даст прощальный гудок. У Геры Ковалева руки как доски, трудно ему держать карандаш.

— Талант ты, Гера. Рубай компот,— скажут ему вечером в кубрике Иван, и Боря, и Валя Костюковский.

Может, кому-нибудь и помогает крем «Янтарь», но только не Люсе Кравченко. Поплывут по ленточному транспортеру кирпичи. Все выше и выше поднимаются этажи. Кран опускает контейнеры прямо в руки девчат. Еще один контейнер, еще один контейнер, еще один этаж, еще один дом, магазин или детские ясли, и скоро вырастет город, и будет в нем памятник Ильичу, и — после работы — Люся со своим законным мужем Витей Колтыгой пойдет по проспекту Комсомола в свою квартиру на четвертом этаже крупноблочного дома. Вот о чем думает Люся.

— Эй, мастер, нос обморозишь! — крикнет Коля Марков задумавшемуся Калчанову, и тот вздрогнет, сбежит вниз по лесам, «прихватывая» подсобников.

— «Евгений Онегин — образ «лишнего человека», — продиктует Катя Пирогова тему нового сочинения.

Кончился апельсиновый вечер.

Завтра все войдет в свою колею, но пока...



18

ВИКТОР КОЛТЫГА

Все равно это был лучший вечер в моей жизни. Индукция меня подвела, шут с ней. Я сказал Люсе, что люблю находить, наверное, наврал. Я больше люблю искать.

- Значит, завтра опять уходишь? — спросила она.
- Что ж подделаешь.
- Надолго?
- На пару месяцев.

— Ой!

— Но я буду приезжать иногда. Здесь недалеко.

— Правда?

— Впрочем, лучше не жди. Будет тебе сюрприз. Люська, скажи, ты честная?

— Да, — прошептала она.

Мы вышли из столовой и секунду постояли на крыльце, обнявшись за плечи.

Луна висела высоко над нами в спокойном темном небе. На площади перед столовой «Маяк» толпа, сосредоточенно пыхтя, поела апельсины. Оранжевые корки падали в голубой снег. Бичам тоже немного досталось.

СОДЕРЖАНИЕ

С утра до темноты	5
Самсон и Самсониха	15
Полторы врачебных единицы	30
Сюрпризы	49
Катапульта	62
Перемена образа жизни	75
Завтраки сорок третьего года	89
Папа, сложи!	100
<i>Апельсины из Марокко. Повесть</i>	117

АКСЕНОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ

КАТАПУЛЬТА

М., «Советский писатель», 1964, 264 стр.

Редактор *В. П. Солнцева*

Худож. редактор *В. В. Медведев*

Техн. редактор *З. Г. Игнатова*

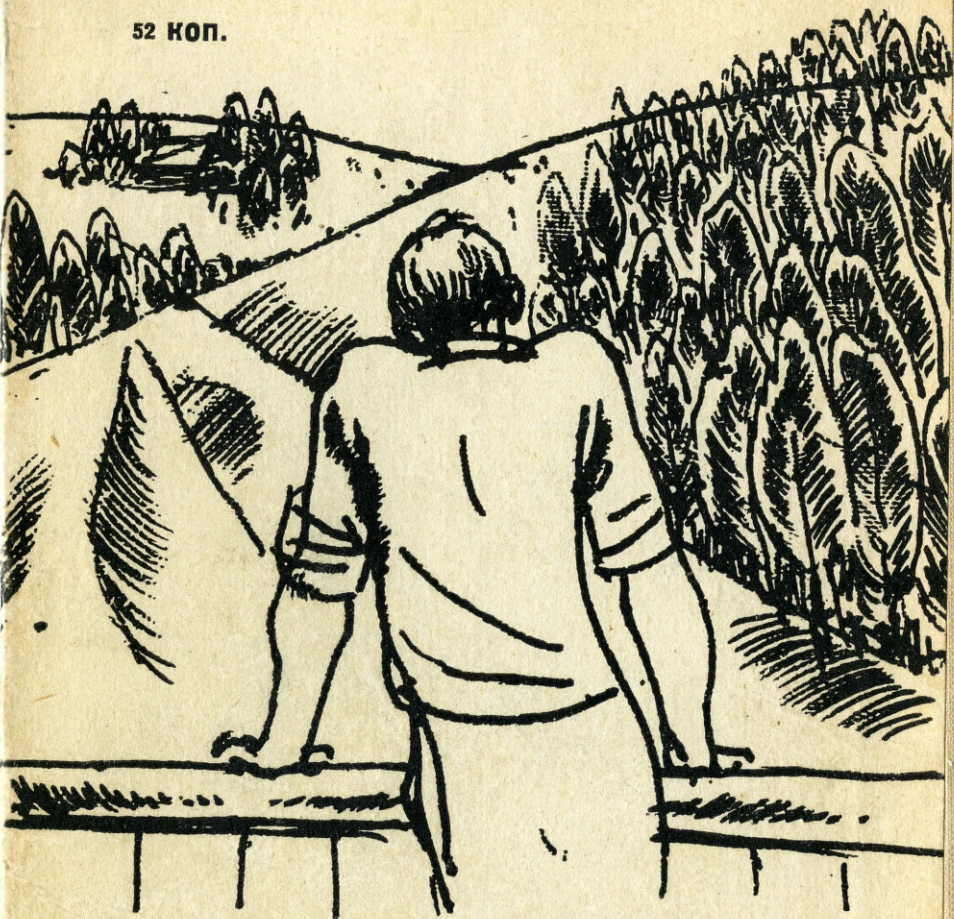
Корректоры *Л. И. Жиронкина* и *Л. Н. Морозова*

Сдано в набор 25/III 1963 г. Подписано в печать 14/XII 1963 г. А 07100. Бумага 84×108¹/₃₂. Печ. л. 8¹/₄ (13,53). Уч. изд. л. 13,93. Тираж 30 000 экз. Заказ № 450
Цена 52 к.

Издательство «Советский писатель», Москва К-9, Б. Гнезниковский пер., 10

Типография им. Володарского Лениздата, Ленинград, Фонтанка, 57

52 КОП.



Советский писатель